

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](http://BooksCafe.Net)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

## **Г.К.Честертон. Наполеон Ноттингхильский**

### **ХИЛЭРУ БЕЛЛОКУ <sup>1</sup>**

Все города, пока стоят,  
Бог одарил звездой своей.  
Младенческий совиный взгляд  
Найдет ее в сетях ветвей.  
На взгорьях Сассекса яснела  
Твоя луна в молочном сне.  
Моя – над городом бледнела,  
Фонарь на Кэмпденском холме.

Да, небеса везде свои,  
Повсюду место небесам.  
И так же (друг, слова мои  
Не без толку, увидишь сам),  
И так над скоротечной жизнью  
Героики витает дух,  
И лязг зловещих механизмов  
Не упразднит ее, мой друг.

Она пребудет, освятив  
Аустерлица кровь и тлен,  
Пред урной Нельсона застыв,  
Не встанет с мраморных колен.  
Пусть реалисты утверждают,  
Что все размечено давно,  
Во тьме неведенья блуждая,  
«Возможно,– говорим мы,– но...»

Еще возможнее другое –  
В просторах благостных равнин  
Под барабанный грохот боя  
Возникнет новый властелин.  
Свобода станет жизнью править  
И баррикады громоздить,  
А смерть и ненависть объявят,  
Что явлено – кого любить.

---

<sup>1</sup> *Беллок Джозеф Хилэр* (1870-1953) английский поэт, писатель, историк, ближайший друг Честертона.

Вдали холмов твоих, в ночи  
Мне грезилось: взметались ввысь  
Под небо улицы-лучи  
И там со звездными сплелись.  
Так я ребенком грезил, сонный.  
И ныне брежу этим сном  
Под серой башней, устремленной  
К звезде над Кэмпденским холмом.

Г.-К. Ч.<sup>2</sup>

## Книга первая

### Глава I

#### ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ЧАСТИ ПРОРОЧЕСТВА

Род людской, а к нему относится немалая толика моих читателей, от века привержен детским играм и вовек не оставит их, сердись не сердись те немногие, кому почему-либо удалось повзрослеть. И есть у детей-человеков излюбленная игра под названием «Завтра – небось не нынче»; шропширцы из глубинки именуют ее «Нятяни-пророку-нос». Игроки внимательно и почтительно выслушивают умственную братию, в точности предрекающую общеобязательное будущее. Потом дожидаются, пока братия перемерет, и хоронят их брата с почестями. А похоронивши, живут себе дальше как ни в чем не бывало своей непредуказанной жизнью. Вот и все, но у рода людского вкус непритязательный, нам и это забавно.

Ибо люди, они капризны, как дети, чисто по-детски скрываются и спокон веков не слушаются мудрых предреказаний. Говорят, лжепророков побивали камнями; но куда бы вернее, да и веселее побивать пророков подлинных. Сам по себе всякий человек с виду существо, пожалуй что, и разумное: и ест, и спит, и планы строит. А взять человечество? Оно изменчивое и загадочное, привередливое и очаровательное. Словом, люди – большей частью мужчины, но Человек есть женщина.

Однако же в начале двадцатого столетия играть в «Нятяни-пророку-нос» стало очень трудно, трудней прямо-таки не бывало. Пророков развелось видимо-невидимо, а пророчеств еще больше, и как ни крутись, а того и гляди исполнишь чье-то предреказание. Выкинет человек что-нибудь несусветное, сам себе удивится, и вдруг его оторопь возьмет: а ведь это небось ему на роду предреказано! Залезет тот же герцог на фонарный столб, или, положим, настоятель собора наклюкается до положения риз – а счастья ни тому, ни другому нет: думают, а ну как мы чего исполнили? Да, в начале двадцатого столетия умствующая братия заволодела чуть не всю землю. Так они расплодились, что простака было днем с огнем не сыскать, а уж ежели находили – толпами шли за ним по улице, подхватывали его на руки и сажали на высокий государственный пост.

И все умники в голос объясняли, чему быть и чего не миновать – твердо-натвердо, с беспощадной прозорливостью и на разные лады. Казалось, прощай, старая добрая забава, игра в надуй-предка: какая тут игра! Предки есть не ели, спать не спали, даже политику забросили, и денно и нощно помышляли о том, чем будут заняты и как будут жить их потомки.

А помышляли пророки двадцатого века все как один совершенно одинаково. Заметят

---

<sup>2</sup> Перевод Муравьева Н. В., 1990 г.

что-нибудь, что и взаправду случилось – и говорят, будто оно дальше так и пойдет и дойдет до чего-нибудь совсем чрезвычайного. И тут же сообщалось, что кое-где уже и чрезвычайное произошло и что вот оно, знамение времени.

Имелся, например, в начале века некий Г.-Дж. Уэллс<sup>3</sup> со товарищи – они все вместе полагали, что наука со временем все превзойдет: автомобили быстрее извозчиков, вот-вот придумается что-нибудь превосходнее и замечательнее автомобилей; а уж там быстрота умножится более чем многократно. Из пепла их предубаждений возник доктор наук Квилп: он предубаждал, что однажды некоего человека посадят в некую машину и запустят вокруг света с такою быстротой, что он при этом будет спокойненько растарыбарывать где-нибудь в деревенской глуши, огибая земной шар с каждым словом. Говорили даже, будто уж и был запущен вокруг земли один престарелый и краснолицый майор – и запущен так быстро, что обитатели дальних планет только и видели охватившее землю кольцо бакенбардов на огненной физиономии и молниеносный твидовый костюм: что говорить, кольцо не хуже Сатурнова.

Но другие им возражали. Некто мистер Эдвард Карпентер<sup>4</sup> сообразил, что все мы не сегодня-завтра возвратимся к природе и будем жить просто, медлительно и правильно, как животные. У этого Эдварда Карпентера нашелся последователь, такой Джеймс Пики, доктор богословия из богобоязненного Покахонтаса: он сказал, что человечеству прежде всего надлежит жевать, то бишь пережевывать принятую пищу спокойно и неспешно, и коровы нам образец. Вот я, например, сказал он, засеял поле телячьими котлетами и выпустил на него целую стаю горожан на четвереньках – очень хорошо получилось. А Толстой и иже с ним<sup>5</sup> разъяснили, что мир наш с каждым часом становится все милосерднее и ни малейшего убийства в нем быть не должно. А мистер Мик не только стал вегетарианцем, он и дальше пошел: «Да разве же можно, – великолепно воскликнул он, – проливать зеленую кровь бессловесных тварей земных?» И предубаждал, что в лучшие времена люди обойдутся одной солью. А в Орегоне (С. А. С. Ш.) это дело попробовали, и вышла статья: «Соль-то в чем провинилась?» – Тут-то и началось.

Явились также предубаждатели на тот предмет, что узы родства впредь станут уже и строже. Некий мистер Сесил Родс<sup>6</sup> заявил, что отныне пребудет лишь Британская империя и что пропасть между имперскими жителями и жителями внеимперскими, между китайцем из Гонконга и китайцем Оттуда, между испанцем с Гибралтарской Скалы и испанцем из Испании такова же, как пропасть между людьми и низшими животными. А его пылкий друг мистер Дзоппи (его еще называли апостолом Англо-Саксонства) повел дело дальше: в итоге получилось, что каннибализм есть поедание гражданина Британской империи, а других и поедать не надо, их надо просто ликвидировать без ненужных болевых ощущений.

И напрасно считали его бесчувственным: чувства в нем просыпались, как только ему предлагали скушать уроженца Британской Гайаны – не мог он его скушать. Правда, ему сильно не повезло: он, говорят, попробовал, живучи в Лондоне, питаться одним лишь мясом

---

<sup>3</sup> *Уэллс Герберт Джордж* (1866-1946) – английский писатель-фантаст; его технократические утопии и языческую веру в «Человека Технического» Честертон высмеивал в эссе «Герберт Уэллс и великаны» («Еретики», 1905), а также в главе «Человек из пещеры» («Вечный человек», 1925).

<sup>4</sup> *Эдвард Карпентер* (1844-1929) – английский писатель, проповедник и мыслитель, сторонник социал-реформистской программы У. Морриса; предвосхищая трагические последствия технического прогресса, ратовал за возврат к природе и крестьянскому труду.

<sup>5</sup> *Толстой и иже с ним...* – Льву Толстому (1828-1910) Честертон посвятил эссе «Толстой и культ опрощения» и некоторые другие.

<sup>6</sup> *Сесил Родс* (1853-1902) – британский путешественник, финансист и государственный деятель; возглавлял военные действия против буров, коренного населения Британской Южной Африки.

итальянцев-шарманщиков. Конец его был ужасен: не успел он начать питаться, как сэр Пол Суэллер зачитал в Королевском Обществе свой громогласный доклад, где доказывал как дважды два, что дикари были не просто правы, поедая своих врагов: их правоту подкрепляла нравственная гигиена, ибо науке ясно как день, что все, как таковые, качества едомого сообщаются едоку. И старый добрый профессор не вынес мысли, что ему сообщаются и в нем неотвратимо произрастают страшные свойства шарманщиков-итальянцев.

А был еще такой мистер Бенджамин Кидд<sup>7</sup>, каковой утверждал, что главное и надежнейшее занятие рода человеческого – забота о будущем, заведомо известном. Его продолжил и мощно развил Уильям Боркер, перу которого принадлежит бессмертный абзац, известный наизусть любому школьнику – о том, как люди грядущих веков восплачут на могилах потомков, как туристам будут показывать поле исторической битвы, которая разыграется на этом поле через многие столетия.

И не последним из предвещателей явился мистер Стед, сообщивший, что в двадцатом столетии Англия наконец воссоединится с Америкой, а его юный последователь, некто Грэхем Подж, включил в Соединенные Штаты Америки Францию, Германию и Россию, причем Россия обозначалась литерами СР, т.е. Соединенная Россия.

Мало того, мистер Сидней Уэбб<sup>8</sup> разъяснил, что в будущей человеческой жизни воцарится закон и порядок, и друг его, бедняга Фипс, спятил и бегал по лесам и долам с топором, обрубая лишние ветви деревьев, дабы росли поровну в обе стороны.

И все эти умники предвещали напропалую, все наперебой объясняли, изошряясь в объяснениях, что неминуемо случится то, что по слову их «развивается», и впредь разовьется так, что за этим и не уследишь. Вот оно вам и будущее, говорили они, прямо как на ладони. «Равно как, – изрекал доктор Пелкинс, блистая красноречием, – равно как наблюдаем мы крупнейшую, паче прочих, свинью с пометом ее и знаем несомненно, что силою Непостижимого и Неизъяснимого Закона она свинья раньше или позже превзойдет размерами слона; равно как ведаем мы, наблюдая сорняки и тому подобные одуванчики, разросшиеся в саду, что они рано или поздно вырастут выше труб и поглотят дом с усадьбами, – точно так же мы знаем и научно признаем, что если в некий период времени политика нечто оказывает, то это нечто будет расти и возрастать, покуда не достигнет небес».

Что правда, то правда: новейшие пророки и предвещатели сильно помешали человекам, занятым старинной игрой в Натяни-нос-пророку. Вот уж куда ни плюнь, оказывалось, что плюешь в пророчество.

А все-таки было в глазах и у каменщиков на улицах, и у крестьян на полях, у моряков и у детей, а особенно у женщин что-то загадочное, и умники прямо-таки заходились от недоумения. Насмешка, что ли, была в этих глазах? Все им предсказали, а они чего-то скрытничали – дальше, видать, хотели играть в дурацкую игру Натяни-пророку-нос.

И умные люди забегали, как взбесились, мотались туда и сюда, вопрошая: «Ну так что? Ну так что? Вот Лондон – каков он будет через сто лет? Может быть, мы чего-нибудь недодумали? Дома, например, вверх тормашками – а что, очень гигиенично! Люди – конечно же, будут ходить на руках, ноги станут чрезвычайно гиб... ах, уже? Луна упадет... моторы... головы спрячут...?» И так они мытарались и приставали ко всем, пока не умерли; а похоронили их с почестями.

Все остальные ушли с похорон, облегченно вздохнули и принялись за свое. Позвольте уж мне сказать горькую-прегорькую правду. И в двадцатом столетии тоже люди натянули

---

<sup>7</sup> **Бенджамин Кидд** (1858-1917) – английский экономист и социолог, в своем труде «Социальная эволюция» (1894) рассматривал вопросы социальной прогностики.

<sup>8</sup> **Сидней Уэбб** (1859-1947) – английский экономист, социал-реформатор и историк, член лейбористской партии.

нос пророкам. Вот поднимается занавес над нашей повестью, время восемьдесят лет тому вперед, а Лондон такой же, каким был в наши дни.

## Глава II МУЖЧИНА В ЗЕЛЕНОМ

В двух словах объясню, почему Лондон через сто лет без малого будет тем же городом, что... да нет, раз уж я, заодно с прорицателями, перешел в приснопрошедшее время, то – почему Лондон к началу моей повести был так похож на город, в котором проходили незабвенные дни моей жизни.

Вообще-то хватит и одной фразы: народ напрочь утратил веру в революции. Революции, они, как известно, все держатся на догмах – Великая Французская, например, или та, которая одарила нас христианством. Ведь куда как ясно, что нет возможности разрушить порядок вещей, опрокинуть верования и переменить обычаи, если не иметь за душой иной веры, надежной и обнадеженной свыше. Так вот, англичане двадцатого столетия во всем тому подобном разуверились. Они теперь верили в нечто, именуемое, в отличие от революции, «эволюцией», верили и приговаривали: «Все, какие были, преобразования мысли захлебывались кровью и утыкались в полную безысходность. Нет, если уж мы станем изменяться, то изменимся неспешно и степенно, наподобие животных. Подлинные революции вершит природа, и хвосты пока никто не отстаивал».

Но кое-что все-таки изменилось. Чего в мыслях не было, то теперь и на ум не шло. Что бывало нечасто, исчезло начисто. Вот, положим, солдатня или полиция, бывшие управители страны, – их становилось меньше и меньше, а под конец и вообще почти не стало. Какие остались полицейские, с теми восставший народ справился бы за десять минут: но зачем бы это с ними справляться, какой толк? В революциях все как есть разуверились.

И демократия омертвела: пусть его правит, решили все, раз ему охота, правящий класс. Англия стала деспотией, но не наследственной. Какой-нибудь чиновник становился королем, и никому не было дела ни как, ни кто именно. По сути дела, и не монархом он становился, а генеральным секретарем.

И сделался Лондон спокойней спокойного. Лондонцы и раньше-то не любили ни во что мешаться: как, мол, оно шло, так пусть и дальше идет; а теперь и вовсе перестали – не вмешивались, да и только. Вчерашний день прожили – ну, и нынче проживем, как вчера.

Ну, и в это ветреное, облачное утро три молодых чиновника, всегда ходившие на службу вместе, должны были вроде бы прогуляться по-обычному. В те будущие времена все стало делаться само собой, а уж о чиновниках и говорить нечего: они всегда являлись где следует в положенный час.

Эти три чиновника неизменно ходили втроем, и вся округа их знала: двое рослых, один низенький. Однако в тот день коротышка припозднился на секунду-другую, и рослые прошагали мимо его калитки. Чуть он поднажми – и запросто догнал бы своих привычных спутников, а мог бы и окликнуть. Но он не поднажал и не окликнул.

По некой причине, каковая останется втайне, доколе все и всяческие души не будут призваны на Страшный суд (а они, кто их знает, может, и не будут призваны – тогда подобные верования стали считаться дикарскими) – так вот по этой некой причине он, коротышка, отстал от своих, хотя и последовал за ними. День был серый, и они были серые, и все было серое; и все же, сам не зная отчего, он от них поотстал и пошел позади, глядя им в спины, которые превратились бы в лица при одном звуке его голоса. А в Книге Жизни, на одной из ее темных, нечитанных страниц значится такой закон: гляди и гляди себе девятьсот девяносто девятижды, но бойся тысячного раза: не дай Бог увидишь впервые. Вот и коротышка-чиновник – шел и поглядывал на фалды и хлястики своих рослых сотоварищей: улица за улицей, поворот за поворотом, и все хлястики да фалды, фалды да хлястики – и вдруг ни с того, ни с сего он увидел совсем-совсем другое.

Оказалось, перед ним отступают два черных дракона: пятятся, злобно поглядывая на

него. Пятиться-то они пятились, но глядели тем более злобно. Мало ли что глаза эти были всего лишь пуговицами на хлястиках: может, их заведомая пуговичная бессмыслица и отвечивала теперь полоумной драконьей злобищей? Разрезы между фалдами были драконьими носами; поддувал зимний ветер, и чудовища облизывались. Так ему, коротышке, на миг привиделось – и навеки отпечаталось в его душе. Отныне и навсегда мужчины в сюртуках стали для него драконами задом наперед. Он потом объяснил, очень спокойно и тактично, своим двум сослуживцам, что при всем глубочайшем к ним уважении вынужден рассматривать их физиономии как разновидности драконовых задниц. Задницы, соглашался он, по-своему милостивые, воздетые – скорее вскинутые – к небесам. Но если – замечал он при этом – если истинный друг их пожелает увидеть лица друзей и заглянуть им в глаза, в зеркала души, то другу надлежит почтительно их обойти и поглядеть на них сзади: тут-то он и увидит двух черных, мутно-подслеповатых драконов.

Однако же когда эти черные драконы впервые выпрыгнули на него из мглы, они всего лишь, как всякое чудо, переменили вселенную. Он уяснил то, что всем романтикам давно известно: что приключения случаются не в солнечные дни, а во дни серые. Напряги монотонную струну до отказа, и она порвется так звучно, будто зазвучала песня. Прежде ему не было дела до погоды, но под взором четырех мертвенных глаз он огляделся и заметил, как странно замер тусклый день.

Утро выдалось ветренное и хмурое, не туманное, но омраченное тяжелой снеговой тучей, от которой все становится зеленовато-медным. В такой день светятся не небеса, а сами по себе, в жутковатом ореоле, фигуры и предметы. Небесная, облачная тяжесть кажется водяной толщей, и люди мелькают, как рыбы на дне морском. А лондонская улица дополняет воображение: кареты и кебы плывут, словно морские чудовища с огненными глазами. Сперва он удивился двум драконам; потом оказалось, что он – среди глубоководных чудовищ.

Два молодых человека впереди были, как и он сам, тоже нестарый коротышка, одеты с иголочки. Строгая роскошь оттеняла их великолепные сюртуки и шелковистые цилиндры: то самое очаровательное безобразие, которое влечет к нынешнему хлыщу современного рисовальщика; мистер Макс Бирбом<sup>9</sup> дивно обозначил его как «некое сообразие темных тканей и безукоризненной строгости белья».

Они шествовали поступью взволнованной улитки и неспешно беседовали, роняя по фразе возле каждого шестого фонарного столба.

Невозмутимо ползли они мимо столбов: в повествовании более прихотливом оно бы можно, пожалуй, сказать, что столбы ползли мимо них, как во сне. Но вдруг коротышка забежал вперед и сказал им:

– Имею надобность подстричься. Вы, часом, не знаете здесь какой-нибудь завалящей цирюльни, где бы пристойно стригли? Я, изволите видеть, все время подстригаю волосы, а они почему-то заново отрастают.

Один из рослых приятелей окинул его взором расстроенного натуралиста.

– Да вот же она, завалященькая! – воскликнул коротышка, полоумно ослабившись при виде ярких выпуклых витрин парикмахерского салона, пронизавших сумеречную мглу. – Эдак ходишь-ходишь по Лондону, и все время подвертываются парикмахерские. Обедаем у Чикконани. Ах, вы знаете, я просто без ума от этих цирюльничьих витрин. Правда ведь, цирюльни гораздо лучше, чем гадкие бойни?

И он юркнул в двери парикмахерской.

Спутник его по имени Джеймс глядел ему вслед, ввинтив в глазницу монокль.

– Ну и как тебе этот хмырь? – спросил он своего бледного, горбоносого приятеля.

Тот честно поразмыслил минуту-другую и заявил:

---

<sup>9</sup> *Макс Бирбом* (1872-1956) – английский карикатурист, писатель, сатирик, литературный критик. Близкий друг Честертона и Б. Шоу.

– Сызмальства чокнутый, надо понимать.

– Это вряд ли, – возразил достопочтенный Джеймс Баркер. – Нет, Ламберт, по-моему, он в своем роде артист.

– Чушь! – кратко возразил мистер Ламберт.

– Признаюсь, не могу его до конца раскусить, – задумчиво произнес Баркер. – Он ведь рта не разинет, чтобы не ляпнуть такую несусветицу, которой постыдится последний идиот, извиняюсь за выражение. А между тем известно ли тебе, что он – обладатель лучшей в Европе коллекции лаковых миниатюр? Забавно, не правда ли? Видел бы ты его книги: сплошняком древние греческие поэты, французское средневековье и тому подобное. В доме у него – как в аметистовом чертоге, представляешь? А сам он мотается посреди всей этой прелести и мелет – ну, сущий вздор.

– В задницу все книги, и твою Синюю Книгу парламентских уложений туда же, – по-дружески заявил остроумный мистер Ламберт. – Иначе говоря – тебе и книги в руки. Ты-то как дело понимаешь?

– Говорю же – не понимаю, – ответствовал Баркер. – Но уж коли на то пошло, скажу, что у него особый вкус к бессмыслице – артистическая, видите ли, натура, валяет дурака, с тем и возьмите. Я вот, честное слово, уверен, что он, болтаючи вздор, помрачил собственный рассудок и сам теперь не знает разницы между бредом и нормальностью. Он, можно сказать, объехал разум на кривой и отыскал то место, где Запад сходится с Востоком, а полнейший идиотизм – со здравым смыслом. Впрочем, вряд ли я сумею объяснить сей психологический казус.

– Мне-то уж точно не сумеешь, – ничтоже сумняшеся отозвался мистер Уилфрид Ламберт.

Они проходили улицу за длинной улицей, а медноватый полумрак рассеивался, сменяясь желтоватым полусветом, и возле дверей ресторана их озарило почти обычное зимнее утро. Досточтимый Джеймс Баркер, один из виднейших сановников тогдашнего английского правительства (превратившегося в непроницаемый аппарат управления), был сухощав и элегантен; холодно глядели его блекло-голубые глаза с невыразительно красивого лица. Интеллекта у него было хоть отбавляй; наделенный таким интеллектом человек высоко поднимается по должностной лестнице и медленно сходит в гроб, окруженный почестями, никого ни единожды не просветив и даже не позабавив. Его спутник по имени Уилфрид Ламберт, молодой человек, чей нос почти заслонил его физиономию, тоже не очень-то обогатил сокровищницу человеческого духа, но ему это было простительно, он был попросту дурак.

Да, он, пожалуй что, был дурак дураком, а друг его Баркер, умный-преумный – идиот идиотом. Но их общая глупость пополам с идиотизмом были сущее тьфу перед таинственным ужасом бредового скудоумия, которое явственно являл малышок-замухрышка, дожидавшийся их у входа в ресторан Чикконани. Этого человечка звали Оберон Квин<sup>10</sup>; с виду он был дитя не то соенок. Его круглую головку и круглые глазищи, казалось, вычертил, на страх природе, один и тот же циркуль. Так по-дурацки были прилизаны его темные волосенки и так дыбились длиннющие фалды, что быть бы ему игрушечным допотопным Ноем, да и только. Кто его не знал, те обычно принимали его за мальчишечку и хотели взять на колени, но чуть он разевал рот, становилось ясно, что таких глупых детей не бывает.

– Очень я вас долго ждал-поджидал, – кротко заметил Квин. – И смеху подобно: гляжу и вижу – вы, откуда ни возьмись, идете-грядете.

– Это почему же? – удивился Ламберт. – Ты, по-моему, сам здесь нам назначил.

– Вот и мамаша моя, покойница, тоже любила кое-что кое-кому кое-где назначать, –

---

<sup>10</sup> ...звали Оберон Квин .– По мнению многих исследователей, прототипом этого героя послужил Макс Бирбом.

заметил в ответ умник.

За неимением лучшего они собрались было зайти в ресторан, но улица их отвлекла. Холодно было и тускло, однако ж вполне рассвело, и на бурой деревянной брусчатке между мутно-серыми террасами вдруг объявилось нечто поблизости невиданное, а по тем будущим временам вообще невиданное в Англии – человек в яркой одежде. Окруженный зеваками.

Человек был высокий и величавый, в ярко-зеленом мундире, расшитом серебряным позументом. На плече его висел короткий зеленый ментик гусарский с меховой опушкой и лоснисто-багряным подбоем. Грудь его была увешана медалями; на шее, на красной ленте красовался звездчатый иностранный орден; длинный палаш, сверкая рукоятью, дребезжа, волочился по мостовой. В те далекие времена умиротворенная и практичная Европа давным-давно разбросала по музеям всяческое цветное тряпье и побрякушки. Военного народу только и было, что немногочисленная и отлично организованная полиция в скромных, суровых и удобных униформах. И даже те немногие, кто еще помнил последних английских лейб-гвардейцев и уланов, упраздненных в 1912 году, – и те с первого взгляда понимали, что таких мундиров в Англии нет и не бывало; вдобавок над жестким зеленым воротником возвышался смуглый орлиный профиль в серебристо-седой шевелюре, ни дать ни взять бронзовый Данте<sup>11</sup> – твердое и благородное, но никак не английское лицо.

Облаченный в зеленое воин выступал посреди улицы столь величаво, что и слов-то для этого в человеческом языке не сыщется. И простота была тут, и особая осанка: посадка головы и твердая походка – все на него оборачивались, и многие шли за ним, хотя он за собой никого не звал.

Напротив того, сам он был чем-то вроде бы озабочен, что-то вроде бы искал, но искал повелительно, озабочен был, словно идол. Те, кто толпились и поспешали за ним, – те отчасти изумлялись яркому мундиру, отчасти же повиновались инстинкту, который велит нам следовать за юродивыми и уж тем более – за всяким, кто соизволит выглядеть по-царски: следовать за ним и обожать его. А он выглядел более чем царственно: он, почти как безумец, не обращал ни на кого никакого внимания. Оттого-то и тянулась за ним толпа, словно кортеж: ожидали, что или кого первого он удостоит взора. Шествовал он донельзя величественно, однако же, как было сказано, кого-то или что-то искал; взыскующее было у него выражение.

Внезапно это взыскующее выражение исчезло, и никто не понял, отчего; но, видимо, что-то нашлось. Раздвинув толпу волнующихся зевак, роскошный зеленый воин отклонился к тротуару от прямого пути посередине улицы. Он остановился у огромной рекламы Горчицы Колмена, наклеенной на деревянном щите. Зеваки затаили дыхание.

А он достал из карманчика перочинный ножичек и пропорол толстую бумагу. Потом отодрал извилистый клочок. И наконец, впервые обративши взгляд на обалделых зевак, спросил с приятным чужеземным акцентом:

– Не может ли кто-нибудь одолжить мне булавку?

Мистер Ламберт оказался рядом, и булавок у него было сколько угодно, дабы прищипливать бесчисленные бутоньерки; одолженную булавку приняли с чрезвычайными, но полными достоинства поклонами, рассыпаясь в благодарностях.

Затем джентльмен в зеленом, с довольным видом и слегка приосанившись, приколот обрывок горчичной бумаги к своей зеленой груди в серебряных позументах. И опять огляделся, словно ему чего-то не доставало.

– Еще чем могу быть полезен, сэр? – спросил Ламберт с дурацкой угодливостью растерянного англичанина.

– Красное нужно, – заявил чужестранец, – не хватает красного.

– Простите, не понял?

---

<sup>11</sup> *...бронзовый Данте* – Речь идет о бронзовом бюсте итальянского поэта Данте Алигьери, отлитого с его посмертной маски и хранящегося в Национальном музее (Неаполь).



– И вы меня также простите, сеньор,– произнес тот, поклонившись.– Я лишь полюбозытствовал, нет ли у кого-либо из вас при себе чего-нибудь красного.

– Красного при себе? ну как то есть... нет, боюсь, при себе... у меня был красный платок, но в настоящее время...

– Баркер! – воскликнул Оберон Квин.– А где же твой красный лори? Лори-то красный – он где?

– Какой еще красный лори? – безнадежно спросил Баркер.– Что за лори? Когда ты видел у меня красного лори?

– Не видел, – как бы смягчаясь, признал Оберон.– Никогда не видел. Вот и спрашиваю – где он был все это время, куда ты его подевал?

Возмущенно пожав плечами, Баркер обратился к чужестранцу:

– Извините, сэр,– сухо и вежливо отрезал он,– ничего красного никто из нас вам предложить не сможет. Но зачем, позвольте спросить...

– Благодарствуйте, сеньор, не извольте беспокоиться. Как обстоит дело, то мне придется обойтись собственными возможностями.

И, на миг задумавшись, он, все с тем же перочинным ножичком в руке, вдруг полоснул им по ладони. Кровь хлынула струей: чужестранец вытащил платок и зубами оторвал от него лоскут – приложенный к ранке, лоскут заалел.

– Позволю себе злоупотребить вашей любезностью, сеньор,– сказал он.– Если можно, еще одну булавку.

Ламберт протянул ему булавку; глаза у него стали совсем лягушачьи.

Окровавленный лоскут был приколот возле горчичного клочка, и чужеземец снял шляпу.

– Благодарю вас всех, судари мои,– сказал он, обращаясь к окружающим; и, обмотав обрывком платка свою кровотокающую руку, двинулся далее как ни в чем не бывало.

Публика смешалась, а коротыш Оберон Квин побежал за чужестранцем и остановил его, держа цилиндр на отлете. Ко всеобщему изумлению он адресовался к нему на чистейшем испанском:

– Сеньор,– проговорил он,– прошу прощения за непрошеное, отчасти назойливое гостеприимство, может статься, неуместное по отношению к столь достойному, однако же, одинокому гостю Лондона. Не окажете ли вы мне и моим друзьям, которых вы удостоили беседы, чести пообедать с нами в близлежащем ресторане?

Мужчина в зеленом покраснел, как свекла, радуясь звукам родного языка, и принял приглашение с бесчисленными поклонами, каковые у южан отнюдь не лицедейство, но нечто, как бы сказать, прямо противоположное.

– Сеньор,– сказал он,– вы обратились ко мне на языке моей страны, и сколь ни люблю я мой народ, однако же не откажу в восхищении вашему, рыцарственно гостеприимному. Скажу лишь, что в нашей испанской речи слышно биение вашего английского сердца.

И с этими словами он проследовал в ресторан.

– Может быть, теперь,– сказал Баркер, запивая рыбу хересом и сгорая от нетерпения, но изо всех сил соблюдая вежливость,– теперь-то, может быть, будет мне позволено спросить, зачем вам все это было надо?

– Что – «все это», сеньор? – спросил гость, который отлично говорил по-английски с неуловимо американским акцентом.

– Ну как,– смутился его собеседник-англичанин,– зачем вы оторвали кусок рекламы и... это... порезали руку... и вообще...

– Дабы объяснить вам это, сеньор,– отвечал тот с некой угрюмой гордостью,– мне придется всего лишь назвать себя. Я – Хуан дель Фуэго, президент Никарагуа.

И президент Никарагуа откинулся на спинку кресла, прихлебывая херес, будто и взаправду объяснил свои поступки и кое-что сверх того; но Баркер хмурился по-прежнему.

– И вот эта желтая бумага,– начал он с нарочитым дружелюбием,– и красная тряпка...

– Желтая бумага и красная тряпка<sup>12</sup>,– величавей величавого возвестил дель Фуэго,– это наши цвета, символика Никарагуа.

– Но Никарагуа,– смущенно проговорил Баркер,– Никарагуа более не... э-мм...

– Да, Никарагуа покорили<sup>13</sup>, как были покорены Афины. Да, Никарагуа изничтожили, как изничтожили Иерусалим,– возвестил старец с несурзным восторгом.– Янки, германцы и другие нынешние давители истоптали Никарагуа, точно скотские стада. Но несть погибели Никарагуа. Никарагуа – это идея.

– Блистательная идея,– робко предположил Оберон Квин.

– Именно,– согласился чужеземец, подхватывая слово.– Ваша правда, великодушный англичанин. Блистательная идея, пламенеющая мысль. Вы, сеньор, спросили меня, почему, желая узреть цвета флага моей отчизны, я оторвал клочок бумаги и окрасил кровью платок. Но не издревле ль освящены значением цвета? У всякой церкви есть своя цветовая символика. Рассудите же, что значат цвета для нас,– подумайте, каково мне, чей взор открыт лишь двум цветам,– красному и желтому. Это двуцветное равенство объединяет все, что ни есть на свете, высокое и низкое. Я вижу желтую россыпь одуванчиков и старуху в красной накидке, и знаю – это Никарагуа. Вижу алое колыханье маков и желтую песчаную полосу – и это Никарагуа. Озарится ли закатным багрянцем лимон – вот она, моя отчизна. Увижу ли красный почтовый ящик на желтом закате – и сердце мое радостно забьется. Немного крови, мазок горчицы – и вот он, флаг и герб Никарагуа<sup>14</sup>. Желтая и красная грязь в одной канаве для меня отраднее алмазных звезд.

– А уж ежели,– восторженно поддержал его Квин,– ежели к столу подадут золотистый херес и красное вино, то придется вам хочешь не хочешь пить и то, и другое. Позвольте же мне заказать бургундского, чтобы вы, так сказать, проглотили никарагуанский флаг и герб нераздельные и вместе взятые.

Баркер поигрывал столовым ножом и со всей нервозностью дружелюбного англичанина явно собирался что-то высказать.

– Надо ли это понимать так,– промямлил он наконец, чуть покашливая,– что вы, кх-кхм, были никарагуанским президентом в то время, когда Никарагуа оказывала... э-э-э... о, разумеется, весьма героическое сопротивление... э-э-э...

Экс-президент Никарагуа отпустительно помахал рукой.

– Говорите, не смущаясь,– сказал он.– Мне отлично известно, что нынешний мир всецело враждебен по отношению к Никарагуа и ко мне. И я не сочту за нарушение столь очевидной вашей учтивости, если вы скажете напрямик, что думаете о бедствиях, сокрушивших мою республику.

Безмерное облегчение и благодарность выразились на лице Баркера.

– Вы чрезвычайно великодушны, президент.– Он чуть-чуть запнулся на титуле.– И я воспользуюсь вашим великодушием, дабы изъявить сомнения, которые, должен признаться, мы, люди нынешнего времени, питаем относительно таких пережитков, как... э-э-э... независимость Никарагуа.

– То есть ваши симпатии,– с полным спокойствием отозвался дель Фуэго,– на стороне большой нации, которая...

– Простите, простите, президент,– мягко возразил Баркер.– Мои симпатии отнюдь не на

---

<sup>12</sup> *Желтая бумага и красная тряпка... Символика Никарагуа.* – Желтый и красный цвета – на флагах таких латиноамериканских государств, как Гайана и Боливия; цветовая символика Никарагуа – синее с белым.

<sup>13</sup> *Никарагуа покорили, как были покорены Афины... как изничтожили Иерусалим.* – Здесь писатель оказывается провидцем, предрекая высадку американского морского десанта в Никарагуа через четыре года после выхода романа в свет.

<sup>14</sup> *Флаг и герб Никарагуа.* – На гербе Никарагуа изображен колпак свободы, надетый на шест, и символическая горная цепь, уходящая в море.

стороне какой бы то ни было нации. По-видимому, вы упускаете из виду самую суть современной мысли. Мы не одобряем пылкой избыточности сообществ, подобных вашему; но не затем, чтобы заменить ее избыточностью иного масштаба. Не оттого осуждаем мы Никарагуа, что Британия, по-нашему, должна занять его место в мире, его переникарагуанить. Мелкие нации упраздняются не затем, чтобы крупные переняли всю их мелочность, всю узость их кругозора, всю их духовную неуравновешенность. И если я – с величайшим почтением – не разделяю вашего никарагуанского пафоса, то вовсе не оттого, что я на стороне враждебной вам нации или десяти наций: я на стороне враждебной вам цивилизации. Мы, люди нового времени, верим во всеобъемлющую космополитическую цивилизацию, которая откроет простор всем талантам и дарованиям поглощенных ею народностей и...

– Прошу прощения, сеньор, – перебил его президент. – Позволю себе спросить у сеньора, как он обычно ловит мустангов?

– Я никогда не ловлю мустангов, – с достоинством ответил Баркер.

– Именно, – согласился тот. – Здесь и конец открытому вами простору. Этим и огорчителен ваш космополитизм. Провозглашая объединение народов, вы на самом деле хотите, чтобы они все, как один, переняли бы ваши обыкновения и утратили свои. Если, положим, араб-бедуин не умеет читать, то вы пошлете в Аравию миссионера или преподавателя; надо, мол, научить его грамоте; кто из вас, однако же, скажет: «А учитель-то наш не умеет ездить на верблюде; найдем-ка бедуина, пусть он его поучит?» Вы говорите, цивилизация ваша откроет простор всем дарованиям. Так ли это? Вы действительно полагаете, будто эскимосы научатся избирать местные советы, а вы тем временем научитесь гарпунить моржей? Возвращаюсь к первоначальному примеру. В Никарагуа мы ловим мустангов по-своему: накидываем им лассо на передние ноги, и способ этот считается лучшим в Южной Америке. Если вы и вправду намерены овладеть всеми талантами и дарованиями – идите учиться ловить мустангов. А если нет, то уж позвольте мне повторить то, что я говорил всегда – что, когда Никарагуа цивилизовали, мир понес невозместимую утрату.

– Кое-что утрачивается, конечно, – согласился Баркер, – кое-какие варварские навыки. Вряд ли я научусь тесать кремни ловчее первобытного человека, однако же, как известно, цивилизация сподобилась изготовлять ножи получше кремневых, и я уповаю на цивилизацию.

– Вполне основательно с вашей стороны, – подтвердил никарагуанец. – Множество умных людей, подобно вам, уповали на цивилизацию: множество умных вавилонян, умных египтян и умнейших римлян на закате Римской империи. Мы живем на обломках погибших цивилизаций: не могли бы вы сказать, что такого особенно бессмертного в вашей теперешней?

– Видимо, вы не вполне понимаете, президент, что такое наша цивилизация, – отвечал Баркер. – Вы так рассуждаете, будто английские островитяне по-прежнему бедны и драчливы: давненько же вы не бывали в Европе! С тех пор многое произошло.

– И что же, – спросил президент, – произошло, хотя бы в общих чертах?

– Произошло то, – вдохновенно отвечал Баркер, – что мы избавились от пережитков, и отнюдь не только от тех, которые столь часто и с таким пафосом обличались как таковые. Плох пережиток великой нации, но еще хуже пережиток нации мелкой. Плохо, неправильно почитать свою страну, но почитать чужие страны – еще хуже. И так везде и повсюду, и так в сотне случаев. Плох пережиток монархии и дурен пережиток аристократии, но пережиток демократии – хуже всего.

Старый воин воззрился на него, слегка изумившись.

– Так что же, – сказал он, – стало быть, Англия покончила с демократией?

Баркер рассмеялся.

– Тут напрашивается парадокс, – заметил он. – Мы, собственно говоря, демократия из демократий. Мы стали деспотией. Вы не замечали, что исторически демократия непременно

становится деспотией? Это называется загниванием демократии: на самом деле это лишь ее реализация. Кому это надо – разбираться, нумеровать, регистрировать и добиваться голоса несчетных Джонов Робинсонов, когда можно выбрать любого из этих Джонов с тем же самым интеллектом или с отсутствием оногo – и дело с концом? Прежние республиканцы-идеалисты, бывало, основывали демократию, полагая, будто все люди одинаково умны. Однако же уверяю вас: прочная и здравая демократия базируется на том, что все люди – одинаковые болваны. Зачем выбирать из них кого-то? чем один лучше или хуже другого? Все, что нам требуется – это чтобы избранник не был клиническим преступником или клиническим недоумком, чтобы он мог скоренько проглядеть подложенные петиции и подписать кой-какие воззвания. Подумать только, времени-то было потрачено на споры о палате лордов; консерваторы говорили: да, ее нужно сохранить, ибо это – умная палата, а радикалы возражали: нет, ее нужно упразднить, ибо эта палата – глупая! И никому из них было невдомек, что глупостью-то своей она и хороша, ибо случайное сборище обычных людей – мало ли, у кого какая кровь? – они как раз и представляют собой великий демократический протест против нижней палаты, против вечного безобразия, преобладания аристократии талантов. Нынче мы установили в Англии новый порядок, и сбывлись все смутные чаяния прежних государственных устройств: установили тусклый народный деспотизм без малейших иллюзий. Нам нужен один человек во главе государства – не оттого, что он где-то блещет или в чем-то виртуоз, а просто потому, что он – один, в отличие от своры болтунов. Наследственную монархию мы упразднили, дабы избежать наследственных болезней и т. п. Короля Англии нынче выбирают, как присяжного – списочным порядком. В остальном же мы установили тихий деспотизм, и ни малейшего протеста не последовало.

– То есть вы хотите сказать, – недоверчиво полуспросил президент, – что любой, кто подвернется, становится у вас деспотом, что он, стало быть, является у вас из алфавитных списков...?

– А почему бы и нет! – воскликнул Баркер. – Вспомним историю: не в половине ли случаев нации доверялись случайности – старший сын наследовал отцу; и в половине опять-таки случаев не обходилось ли это сравнительно сносно? Совершенное устройство невозможно; некоторое устройство необходимо. Все наследственные монархии полагались на удачу, и алфавитные монархии ничуть не хуже их. Вы как, найдете глубокое философское различие между Стюартами и Ганноверцами<sup>15</sup>? Тогда и я берусь изыскать различие глубокое и философское между мрачным крахом буквы «А» и прочным успехом буквы «Б».

– И вы идете на такой риск? – спросил тот – Избранник ваш может ведь оказаться тираном, циником, преступником.

– Идем, – безмятежно подтвердил Баркер. – Окажется он тираном – что ж, зато он обуздает добрую сотню тиранов. Окажется циником – будет править с толком, блюсти свой интерес. А преступником он если и окажется, то перестанет быть, получив власть взамен бедности. Выходит, с помощью деспотизма мы избавимся от одного преступника и опять-таки слегка обуздаем всех остальных.

Никарагуанский старец наклонился вперед со странным выражением в глазах.

– Моя церковь, сэр, – сказал он, – приучила меня уважать всякую веру, и я не хочу оскорблять вашу, как она ни фантастична. Но вы всерьез утверждаете, что готовы подчиниться случайному, какому угодно человеку, предполагая, что из него выйдет хороший деспот?

– Готов, – напрямик отвечал Баркер. – Пусть человек он нехороший, но деспот – хоть куда. Ибо когда дойдет до дела, до управленческой рутины, то он будет стремиться к элементарной справедливости. Разве не того же мы ждем от присяжных?

---

<sup>15</sup> ...различие между Стюартами и Ганноверцами. – Речь идет о двух королевских династиях Великобритании: Стюарты правили с 1603 по 1714 г.; Ганноверы – с 1714 по 1837 г.

Старый президент усмехнулся.

– Ну что ж, – сказал он, – пожалуй, даже и нет у меня никаких особых возражений против вашей изумительной системы правления. Которое есть – то глубоко личное. Если бы меня спросили, согласен ли я жить при такой системе, я бы разузнал, нельзя ли лучше пристроиться жабой в какой-нибудь канаве. Только и всего. Тут и спору нет, просто душа не приемлет.

– По части души, – заметил Баркер, презрительно сдвинув брови, – я небольшой знаток, но если проникнуться интересами общественности...

И вдруг мистер Оберон Квин так-таки вскочил на ноги.

– Попрошу вас, джентльмены, меня извинить, – сказал он, – но мне на минуточку надо бы на свежий воздух.

– Вот незадача-то, Оберон, – добродушно заметил Ламберт, – что, плохое самочувствие?

– Да не то чтобы плохое, – отозвался Оберон, явно сдерживаясь. – Нет, самочувствие скорее даже хорошее. Просто хочу поразмыслить над этими дивной прелести словами, только что произнесенными «Если проникнуться... – да-да, именно так было сказано, – проникнуться интересами общественности...» Такую фразу так просто не прочувствуешь – тут надо побыть одному.

– Слушайте, по-моему, он вконец свихнулся, а? – спросил Ламберт, проводив его глазами.

Старый президент поглядел ему вслед, странно сощурившись.

– У этого человека, – сказал он, – как я понимаю, на уме одна издевка. Опасный это человек.

Ламберт от смеха чуть не уронил поднесенную ко рту макаронину.

– Опасный! – хохотнул он. – Да что вы, сэр, это коротышка-то Квин?

– Тот человек опаснее всех, – заметил старик, не шелохнувшись, – у кого на уме одно, и только одно. Я и сам был когда-то опасен.

И он, вежливо улыбаясь, допил свой кофе, поднялся, раскланялся, удалился и утонул в тумане, снова густом и сумрачном. Через три дня стало известно, что он мирно скончался где-то в меблированных комнатках Сохо<sup>16</sup>.

А пока что в темных волнах тумана блуждала маленькая фигурка, сотрясаясь и приседая, – могло показаться, что от страха или от боли, а на самом деле от иной загадочной болезни, от одинокого хохота. Коротышка снова и снова повторял как можно внушительней: «Но если проникнуться интересами общественности...»

### Глава III НАГОРНЫЙ ЮМОР

– У самого моря, за палисадничком чайных роз, – сказал Оберон Квин, – жил да был пастор-диссидент, и отродясь не бывал он на Уимблдонском теннисном турнире. А семье его было невдомек, о чем он тоскует и отчего у него такой нездешний взор. И однажды пришлось им горько раскаяться в своем небрежении, ибо они прослышали, что на берег выброшено мертвое тело, изуродованное до неузнаваемости, но все же в лакированных туфлях. Оказалось, что это мертвое тело не имеет ничего общего с пастором; однако в кармане утопленника нашли обратный билет до Мейдстоуна<sup>17</sup>.

Последовала короткая пауза; Квин и его приятели Баркер и Ламберт разгуливали по

---

<sup>16</sup> *Сохо* – район в центре Лондона.

<sup>17</sup> *Мейдстоун* – район в графстве Кент в шести километрах к юго-востоку от Лондона; старинная резиденция норманских архиепископов.

тошим газонам Кенсингтон-Гарденз<sup>18</sup>. Затем Оберон заключил:

– Этот анекдот, – почтительно сказал он, – является испытанием чувства юмора.

Они пошли быстрее, и трава у склона холма стала погуще.

– На мой взгляд, – продолжал Оберон, – вы испытание выдержали, сочтя анекдот нестерпимо забавным; свидетельство тому – ваше молчание. Грубый хохот под стать лишь кабацкому юмору. Истинно же смешной анекдот подобает воспринимать безмолвно, как благословение. Ты почувствовал, что на тебя нечто нисходит, а, Баркер?

– Я уловил суть, – не без высокомерия отозвался Баркер.

– И знаете, – с идиотским хихиканьем заявил Квин, – у меня в запасе пропасть анекдотов едва ли не забавнее этого. Вот послушайте.

И, кхекнув, он начал:

– Как известно, доктор Поликарп был до чрезвычайности болезненным сторонником биметаллизма. «Смотрите-ка, – говорили люди с большим жизненным опытом, – вон идет самый болезненный биметаллист в Чешире<sup>19</sup>». Однажды этот отзыв достиг его ушей; на сей раз так отозвался о нем некий страховой агент, в лучах серо-буро-малинового заката. Поликарп повернулся к нему. «Ах, болезненный? – яростно воскликнул он. – Ах, болезненный! *Quis tulerit Gracchos de seditio querentes?* 20 21

Говорят, после этого ни один страховой агент к доктору Поликарпу близко не подступался.

Баркер мудро и просто кивнул. Ламберт лишь хмыкнул.

– А вот еще послушайте, – продолжал неистощимый Квин. – В серо-зеленой горной ложбине дождливой Ирландии жила-была старая-престарая женщина, чей дядя на «Гребных гонках» всегда греб в кембриджской восьмерке. Но у себя, в серо-зеленой ложбине, она и слыхом об этом не слыхала; она и знать-то не знала, что бывают «Гребные гонки». Не ведала она также, что у нее имеется дядя. И ни про кого она ничего не ведала, слышала только про короля Георга Первого (а от кого и почему – даже не спрашивайте) и простодушно верила в его историческое прошлое. Но постепенно, соизволением Божиим, открылось, что дядя ее – на самом-то деле вовсе не ее дядя; и ее об этом оповестили. Она улыбнулась сквозь слезы и промолвила: «Добродетель – сама себе награда».

Снова воцарилось молчание, и затем Ламберт сказал:

– Что-то малость загадочно.

– А, загадочно? – воскликнул рассказчик. – Еще бы: подлинный юмор вообще загадочен. Вы заметили главное, что случилось в девятнадцатом и двадцатом веках?

– Нет, а что такое? – кратко полюбопытствовал Ламберт.

– А это очень просто, – отвечал тот. – Доныне шутка не была шуткой, если ее не понимали. Нынче же шутка не есть шутка, если ее понимают. Да, юмор, друзья мои, это последняя святыня человечества. И последнее, чего вы до смерти боитесь. Смотрите-ка на это дерево.

Собеседники вяло покосились на бук, который нависал над их тропой.

– Так вот, – сказал мистер Квин, – скажи я, что вы не осознаете великих научных истин, явленных этим деревом, хотя любой мало-мальски умный человек их осознает, – что вы подумаете или скажете? Вы меня сочтете всего-то навсегда ученым сумасбродом с какой-то

---

<sup>18</sup> *Кенсингтон-Гарденз* – большой парк в Лондоне, заложен в 1728– 1731 гг., примыкает к Гайд-Парку.

<sup>19</sup> *Чешир* – графство на северо-западе Англии, граничит с Уэльсом.

<sup>20</sup> Кто потерпит Гракхов, сетующих на мятеж? (*лат.* )

<sup>21</sup> «*Кто потерпит Гракхов, сетующих на мятеж?*» – Ювенал, «Сатиры», ii, 24. Букв.: кто бы стал терпеть человека, нетерпимого к тем ошибкам других, которыми страдает он сам.

теорией о растительных клетках. Если я скажу, что как же вы не видите в этом дереве живого свидетельства гнусных злоупотреблений местных властей, вы на меня попросту наплюете: еще, мол, один полоумный социалист выискался – с завиральными идейками насчет городских парков<sup>22</sup>. А скажи я, что вы сверхкощунственно не замечаете в этом дереве новой религии, сугубого откровения Господня, – тут вы меня зачислите в мистики, и дело с концом. Но если, – и тут он воздел руку, – если я скажу, что вы не понимаете, в чем юмор этого дерева, а я понимаю, в чем его юмор, то Боже ты мой! – да вы в ногах у меня будете ползать.

Он эффектно помолчал и продолжил:

– Да; чувство юмора, причудливое и тонкое, – оно и есть новая религия человечества! Будут еще ради нее свершаться подвиги аскезы! И поверять его, это чувство, станут упражнениями, духовными упражнениями. Спрошено будет: «Чувствуете ли вы юмор этих чугунных перил?» или: «Ощущаете ли вы юмор этого пшеничного поля?» «Вы чувствуете юмор звезд? А юмор закатов – ощущаете?» Ах, как часто я хохотал до упаду, засыпая от смеха при виде лилового заката!

– Вот именно, – сказал мистер Баркер, по-умному смутившись.

– Дайте-ка я расскажу вам еще анекдот. Частенько случается, что парламентарии от Эссекса не слишком-то пунктуальны. Может статься, самый не слишком пунктуальный парламентарий от Эссекса был Джеймс Уилсон, который, срывая мак, промолвил...

Но Ламберт вдруг обернулся и воткнул свою трость в землю в знак протеста.

– Оберон, – сказал он, – заткнись, пожалуйста! С меня хватит! Чепуха все это!

И Квин, и Баркер были несколько ошарашены: слова его прыснули, будто пена из-под наконец-то вылетевшей пробки.

– Стало быть, – начал Квин, – у тебя нет ни...

– Плевать я хотел сто раз, – яростно выговорил Ламберт, – есть или нет у меня «тонкого чувства юмора». Не желаю больше терпеть. Перестань валять дурака. Нет ничего смешного в твоих чертовых анекдотах, и ты это знаешь не хуже меня!

– Ну да, – не спеша согласился Квин, – что правда, то правда: я, по природе своей тугодум, ничего смешного в них не вижу. Зато Баркер, он меня куда посмышленей – и ему было смешно.

Баркер покраснел, как рак, однако же продолжал всматриваться в даль.

– Осел, и больше ты никто, – сказал Ламберт. – Ну, почему ты не можешь, как люди? Насмеши толком или придержи язык. Когда клоун в дурацкой пантомиме садится на свою шляпу – и то куда смешнее.

Квин пристально поглядел на него. Они взошли на гребень холма, и ветер посвистывал в ушах.

– Ламберт, – сказал Оберон, – ты большой человек, ты достойный муж, хотя, глядя на тебя, чтоб мне треснуть, этого не подумаешь. Мало того. Ты – великий революционер, ты – избавитель мира, и я надеюсь узреть твой мраморный бюст промежду Лютером и Дантоном, желательно, как нынче, со шляпой набекрень. Восходя на эту гору, я сказал, что новый юмор – последняя из человеческих религий. Ты же объявил его последним из предрассудков. Однако позволь тебя круто предостеречь. Будь осторожнее, предлагая мне выкинуть что-нибудь *outré*,<sup>23</sup> в подражание, скажем, клоуну, сесть, положим, на свою шляпу. Ибо я из тех людей, которым душу не тешит ничего, кроме дурачества. И за такую выходку я с тебя и двух пенсов не возьму.

---

<sup>22</sup> ...завиральными идейками насчет городских парков. – Речь идет о проектах Джонатана Каминс Кэрра, ландшафтного архитектора, впервые применившего красный кирпич для отделочных работ в Бедфорд-Парке, любимом лондонском уголке Честертона.

<sup>23</sup> Необычное (фр. )

– Ну и давай, в чем же дело,– молвил Ламберт, нетерпеливо размахивая тростью.– Все будет смешнее, чем та чепуха, что вы мелете наперебой с Баркером.

Квин, стоя на самой вершине холма, простер длань к главной аллее Кенсингтон-Гарденз.

– За двести ярдов отсюда,– сказал он, – разгуливают ваши светские знакомцы, и делать им нечего, кроме как глазеть на вас и друг на друга. А мы стоим на возвышении под открытым небом, на фантазмагорическом плато, на Синае, воздвигнутом юмором. Мы – на кафедре, а хотите – на просцениуме, залитом солнечным светом, мы видны половине Лондона. Поосторожнее с предложениями! Ибо во мне таится безумие более, нежели мученическое, безумие полнейшей праздности.

– Не возьму я в толк, о чем ты болтаешь,– презрительно отозвался Ламберт.– Ей-богу, чем трепаться, лучше бы ты поторчал вверх ногами, авось в твоей дурацкой башке что-нибудь встанет на место!

– Оберон! Ради Бога!...– вскрикнул Баркер, кидаясь к нему; но было поздно. На них обернулись со всех скамеек и всех аллей. Гуляки останавливались и толпились; а яркое солнце обрисовывало всю сцену в синем, зеленом и черном цветах, словно рисунок в детском альбоме. На вершине невысокого холма мистер Оберон Квин довольно ловко стоял на голове, помахивая ногами в лакированных туфлях.

– Ради всего святого, Квин, встань на ноги и не будь идиотом!– воскликнул Баркер, заламывая руки.– Кругом же весь город соберется!

– Да правда, встань ты на ноги, честное слово,– сказал Ламберт, которому было и смешно, и противно.– Ну, пошутил я: давай вставай.

Оберон прыжком встал на ноги, подбросил шляпу выше древесных крон и стал прыгать на одной ноге, сохраняя серьезнейшее выражение лица. Баркер в отчаянии топнул ногой.

– Слушай, Баркер, пойдем домой, а он пусть резвится,– сказал Ламберт.– Твоя разлюбезная полиция за ним как-нибудь приглядит. Да вон они уже идут!

Двое чинных мужчин в строгих униформах поднимались по склону холма. Один держал в руке бумажный свиток.

– Берите его, начальник, вот он,– весело сказал Ламберт,– а мы за него не в ответе.

Полисмен смерил спокойным взглядом скачущего Квина.

– Нет, джентльмены,– сказал он,– мы пришли не затем, зачем вы нас, кажется, ожидаете. Нас направило начальство оповестить об избрании Его Величества Короля. Обыкновение, унаследованное от старого режима, требует, чтобы весть об избрании была принесена новому самодержцу немедленно, где бы он ни находился: вот мы и нашли вас в Кенсингтон-Гарденз.

Глаза Баркера сверкнули на побледневшем лице. Всю жизнь его снедало честолюбие. С туповатым, головным великодушием он и вправду уверовал в алфавитный метод избрания деспота. Но неожиданное предположение, что выбор может пасть на него, было поразительно, и он зашатался от радости.

– Который из нас...– начал он, но полисмен почтительно прервал его.

– Не вы, сэр, говорю с грустью. Извините за откровенность, но мы знаем все ваши заслуги перед правительством, и были бы несказанно рады, если бы... Но выбор пал...

– Господи Боже ты мой! – воскликнул Ламберт, отскочив на два шага.– Только не я! Не говорите мне, что я – самодержец всея Руси!

– Нет, сэр,– сказал полисмен, кашлянув и посмотрев на Оберона, сунувшего голову между колен и мычавшего по-коровьему,– джентльмен, которого нам надлежит поздравить, в настоящее время – э-э-э-э, так сказать, занят.

– Неужели Квин! – крикнул Баркер, подскочив к избраннику.– Не может этого быть! Оберон, ради Бога, одумайся! Ты избран королем!

Мистер Квин с головою между колен скромно отвечивал:

– Я недостойн избрания. Могу ли я, подумавши, сравниться с былыми венценосцами Британии? Единственное, на что я уповаю – это что впервые в истории Англии монарх



изливает душу своему народу в такой позиции. В некотором смысле это может мне обеспечить, цитируя мое юношеское стихотворение

То благородство, что дает  
Не доблесть, мудрость и не род  
Воителям, древнейшим королям

Короче, сознание, проясненное данной позицией... Ламберт и Баркер бросились к нему.

– Ты что, не понял? – крикнул Ламберт. – Это тебе не шуточки. Тебя взаправду выбрали королем. Ну и натворили же они!...

– Великие епископы средних веков, – объявил Квин, брыкаясь, когда его волокли вниз по склону чуть ли не вниз головой, – обыкновенно трикраты отказывались от чести избрания и затем принимали его. Я с этими великими людьми породнюсь наоборот: трикраты приму избрание, а уж потом откажусь. Ох, и потружусь же я для тебя, мой добрый народ! Ну, ты у меня посмеешься!

К этому времени его уже перевернули как следует, и оба спутника понапрасну пытались его образумить.

– Не ты ли, Уилфрид Ламберт, – возражал он, – объяснил мне, что больше будет от меня толку, если я стану насмешничать более доступным манером? Вот и надо быть как можно доступнее, раз уж я вдруг сделался всенародным любимцем. Сержант, – продолжал он, обращаясь к обалделому вестнику, – каковы церемонии, сопутствующие моему вступлению в должность и явлению в городе?

– Церемонии, – смущенно отвечивал тот, – некоторое, знаете ли, время были как бы отменены, так что...

Оберон Квин принялся снимать сюртук.

– Любая церемония, – сказал он, – требует, чтобы все было шиворот-навыворот. Так мужчины, изображая из себя священников или судей, надевают женское платье. Будьте любезны, подайте мне этот сюртук, – и он вручил его вестнику.

– Но, Ваше величество, – пролепетал полисмен, повертев сюртук в руках и вконец растерявшись, – вы же его так наденете задом наперед!

– А можно бы и шиворот-навыворот, – спокойно заметил король, – что поделать, выбор у нас невелик. Возглавьте процессию.

Для Баркера и Ламберта остаток дня преобразился в сутолочную, кошмарную неразбериху. Монарх, надев сюртук задом наперед, шествовал по улицам, на которых его ожидали, к древнему Кенсингтонскому дворцу, королевской резиденции<sup>24</sup>. На пути его кучки людей превращались в толпы, и странными звуками приветствовали они самодержца. Баркер понемногу отставал; в голове у него мутилось, а толпы становились все гуще, и галдеж их все необычнее. Когда король достиг рыночной площади у собора, Баркер, оставшись далеко позади, узнал об этом безошибочно, ибо таким восторженным гвалтом не встречали еще никогда никого из царей земных.

## Книга вторая

### Глава I ХАРТИЯ ПРЕДМЕСТИЙ

---

<sup>24</sup> ...к древнему Кенсингтонскому дворцу, королевской резиденции. – Речь идет об одном из королевских дворцов в Лондоне, где и по сей день живут некоторые члены королевской семьи.

Ламберт стоял в замешательстве у дверей королевских покоев, посреди развеселой суматохи. Наконец он пошел неверными шагами на улицу и едва не столкнулся с Джеймсом Баркером.

– Ты куда? – спросил его Ламберт.

– Да надо же прекратить это безобразие, – отвечал Баркер на ходу. Он ворвался в покои, хлопнув дверью, швырнул на стол свой щегольской цилиндр и раскрыл было рот, но король опередил его:

– Позвольте-ка ваш цилиндр.

Молодой государственный муж невольно повиновался; при этом рука его дрожала. Король поставил цилиндр на сиденье трона и уселся сверху, сплющив тулью.

– Диковатый старинный обычай, – пояснил он, как ни в чем не бывало. – Лишь только представитель Дома Баркеров является к монарху засвидетельствовать преданность, шляпа его немедленно приводится в негодность. Таким образом как бы увековечивается акт почтительного снятия шляпы. Это символический намек: доколе она шляпа не появится снова на вашей голове (а я твердо убежден, что это маловероятно), доколе Дом Баркеров пребудет верен нашей английской короне.

Баркер стоял, закусив губу, со сжатыми кулаками.

– Твои шуточки, – начал он, – и попрание моей собственности... – у него вырвалось ругательство, и он осекся.

– Продолжайте, продолжайте, – разрешил король, великодушно махнув рукой.

– Что все это значит? – воскликнул Баркер, страстным жестом взывая к рассудку. – Ты не с ума ли сошел?

– Нимало, – приятно улыбнувшись, возразил король. – Сумасшедшие – народ серьезный; они и с ума-то сходят за недостатком юмора. Вот вы, например, Джеймс, подозрительно серьезны.

– Ну что тебе стоит не дурачиться на людях, а? – увещевал Баркер. – Денег у тебя хватает, домов и дворцов сколько угодно – валяй дурака взаперти, но в интересах общности надо...

– Звучит, как злонамеренная эпиграмма, – заметил король и грустно погрозил пальцем, – однако же воздержитесь по мере сил от ваших блистательных дерзостей. Ваш вопрос – почему я не валяю дурака взаперти – мне не вполне ясен. Зато ответ на него ясен донельзя. Не взаперти, потому что смешнее на людях. Вы, кажется, полагаете, что забавнее всего чинно держаться на улицах и на торжественных обедах, а у себя дома, возле камина (вы правы – камин мне по средствам) смешить гостей до упаду. Но так все и делают. Возьмите любого – на людях серьезен, а на дому – юморист. Чувство юмора подсказывает мне, что надо бы наоборот, что надо быть шутком на людях и степенным на дому. Я хочу превратить все государственные занятия, все парламенты, коронации и т. п. в дурацкое старомодное представленье. А с другой стороны – каждый день на пару часов запираюсь в чуланчике и уж там, наедине с собой, до упаду серьезничать.

Баркер тем временем расхаживал по чертогу, и фалды его сюртука взлетали, как черноперые крылья.

– Ну что ж, ты погубишь страну, только и всего, – резко проговорил он.

– Ай-яй-яй, – заметил Оберон, – похоже на то, что десятивековая традиция нарушена, что Дом Баркеров восстал против английской короны. Не без горечи, хотя вид ваш меня восхищает, придется мне обязать вас водрузить на голову останки цилиндра, но...

– Вот чего не могу понять, – прервал его Баркер, вскинув руки на американский манер, – как же это тебе все нипочем, кроме собственных выходов?

Король обронил сплюснутый цилиндр и подошел к Баркеру, пристально разглядывая его.

– Я дал себе нечто вроде зарока, – сказал он, – ни о чем не говорить всерьез: ведь серьезный разговор означает всего-навсего дурацкие ответы на дурацкие вопросы. Однако же не к лицу сильному обижать малых сих, а политиков и подавно. А то выходит, что

С презрительной ухмылкой ты  
Глядишь на Божью тварь,-

выражаясь, с вашего позволения, богословски. И вот по некоторой причине, мне совершенно непонятной, я, оказывается, вынужден ответить на ваш вопрос и вдобавок вообразить, будто на свете есть хоть что-нибудь серьезное. Вы спрашиваете меня, как это мне все нипочем. А можете вы мне сказать ради всего святого, в которое вы ни на грош не верите, что именно должно мне быть дорого?

– Ты что ж, не признаешь общественных потребностей? – воскликнул Баркер. – Да как это может быть, чтобы человек твоего ума не понимал, что в общих интересах...

– Да как это может быть, чтобы вы не верили Заратустре<sup>25</sup>? Вам что же, Мамбо-Джамбо не указ? – почти вдохновенно возразил король. – Неужели же человек вашего, так сказать, ума станет предьявлять мне прописи ранневикторианской этики? Мой облик и поведение, чего доброго, навели вас на мысль, будто я – тот же принц-консорт, двойник супруга незабвенной королевы<sup>26</sup>? Вы, ей-богу, ошиблись. Убедил ли вас Герберт Спенсер<sup>27</sup> – хоть кого-нибудь он убедил? Убедил ли на один безумный миг самого себя, что индивиду, в своих же интересах, надлежит проникнуться интересами общественными? Вы что, и вправду верите, что если вы – плохой столоначальник, то вы на целый дюйм или полдюйма ближе к гильотине, чем рыболов к утоплению – а вдруг его утащит в реку огромная щука? Герберт Спенсер не воровал по той простой причине, по которой не носил в носу кольца: он был английский джентльмен, у него были иные вкусы. Я тоже английский джентльмен, и у меня тоже иные вкусы, нежели у него. Ему была любезна философия. А мне любезно искусство. Ему понравилось написать десяток книг о природе человеческого сообщества<sup>28</sup>. А мне нравится, когда лорд-гофмейстер шествует передо мной, вихляя бумажным хвостом, прицепленным к фалдам. Таков мой юмор. Я вам ответил? Но так или иначе, а нынче я сказал свое последнее серьезное слово – полагаю, что и вообще в нашей Стране Дураков мне больше серьезничать не придется. Впрочем, я надеюсь, что нынешняя наша беседа продлится еще долго и на многое нас подвигнет, но остаток ее лично я буду вести на новом языке, мною разработанном, – путем быстрых знакообразующих движений моей левой ноги.

И он закурился по комнате с самоуглубленным выражением. Баркер бегал за ним, вопрошая и умоляя, но ответы получал лишь на новом языке. Он вышел из покоев, заново хлопнув дверью, и голова у него кружилась, словно он вышел на берег из волн морских. Он прошелся по улицам, и вдруг оказался возле ресторана Чикконани: ему почему-то припомнилась зеленая нездешняя фигура латиноамериканского генерала, как он видел его на прощанье у дверей, и слышались его слова: «... И спору нет, просто душа не приемлет».

А король прекратил свой танец с видом человека, утомленного делами. Он надел пальто, закурил сигару и вышел в лиловые сумерки.

– Пойду-ка я, – сказал он, – смешаюсь с моим народом. Он быстро прошел улицей по

---

<sup>25</sup> *Заратустра* (Зороастр) (предположительно VII-VI вв. до н. э.) – пророк древнего Ирана, основатель дуалистического учения. Герой книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».

<sup>26</sup> *...я – тот же принц-консорт, двойник супруга незабвенной королевы?* – Имеется в виду принц Альберт (1819-1861), супруг королевы Виктории (1819-1901).

<sup>27</sup> *...убедил ли вас Герберт Спенсер...* – Английский философ-позитивист Герберт Спенсер (1820-1903) применил эволюционную теорию к биологии, психологии, социологии.

<sup>28</sup> *...десяток книг о природе человеческого сообщества.* – Речь идет о многотомной монографии Г. Спенсера «Синтез философии» (1896), включающей его основные труды.

соседству от Ноттинг-Хилла, и вдруг что-то твердое с размаху ткнулось ему в живот. Он остановился, вставил в глаз монокль и оглядел мальчика с деревянным мечом, в бумажном шлеме, восторженно-обрадованного, как всякий ребенок, когда он кого-нибудь из всех сил ударит. Король задумчиво разглядывал юного злоумышленника; наконец он извлек из нагрудного кармана блокнот.

– Тут у меня кой-какие наброски предсмертной речи, – сказал он, перелистывая страницы, – ага, вот: предсмертная речь на случай политического убийства; она же, если убийца – прежний друг, хм, хм. Предсмертная речь ввиду гибели от руки обманутого мужа (покаянная). Предсмертная речь по такому же случаю (циническая). Я не очень понимаю, какая в данной ситуации...

– Я – властитель замка! – сердито воскликнул мальчик, чрезвычайно довольный собой, всем остальным и ничем в частности.

Король был человек добросердечный, и детей он очень любил: что может быть смешнее детей!

– Дитя, – сказал он, – я рад видеть такого стойкого защитника старинной неприступной твердыни Ноттинг-Хилла. Гляди, гляди ночами на свою гору, малыш, смотри, как она возносится к звездам – древняя, одинокая и донельзя ноттинговая, чтобы не сказать хиллая. И пока ты готов погибнуть за это священное возвышение, пусть даже его обступят все несметные полчища Бейзуотера...

Король вдруг задумался, и глаза его просияли.

– А что, – сказал он, – может, ничего великолепнее и не придумаешь. Возрождение величия былых средневековых городов силами наших районов и предместий, а? Клэпам<sup>29</sup> с городской стражей. Уимблдон<sup>30</sup>, обнесенный городской стеной. Сэрбитон бьет в набат, призывая горожан к оружию. Уэст-Хемпстед кидается в битву под своим знаменем. А? Я, король, говорю: да будет так! – И, поспешно вознаградив мальчишку полукроной со словами «На оборону Ноттинг-Хилла», он сломя голову помчался во дворец, и зеваки не отставали от него всю дорогу. У себя в кабинете, заказав чашку кофе, он погрузился в размышления, и наконец, когда проект был всесторонне обдуман, он послал за конюшим, капитаном Баулером, который ему сразу понравился своими бакенбардами.

– Баулер, – спросил он, – не числюсь ли я почетным членом какого-нибудь общества исторических изысканий?

– Как же, сэр, – ответил Баулер, степенно потирая нос, – вы являетесь членом общества «Сподвижников Египетского Возрождения», клуба «Тевтонских Гробокопателей», а также «Общества реставрации лондонских древностей» и...

– Превосходно, – прервал его король. – Лондонские древности меня устраивают. Ступайте же в «Общество реставрации лондонских древностей», призовите их секретаря и заместителя секретаря, их президента и вице-президента и скажите им: «Король Англии горд, но почетный член „Общества реставрации лондонских древностей“ горделивее королей. Нельзя ли ему обнародовать перед почтенным собранием некоторые открытия касательно забытых и незабвенных традиций лондонских предместий (ныне – городских районов)? Открытия эти могут вызвать смуту; они разожгут тлеющие воспоминания, разбередят старые раны Шепердс-Буша и Бейзуотера, Пимлико и Южного Кенсингтона. Король колеблется, но тверд почетный член. И вот – он готов предстать перед вами, верный принесенным им при вступлении клятвам; во имя Семи Священных Котов, Кривоколенной Кочерги, а также Искуса Магического Мига (простите, если я вас перепутал с „Клан-на-Гэлем“ или каким-нибудь другим клубом, в который вступал) позвольте ему

---

<sup>29</sup> *Клэпам* – железнодорожный вокзал в южной части Лондона.

<sup>30</sup> Уимблдон – предместье Лондона, где и во времена Честертона располагался крокетный и теннисный клуб.

прочитать на вашем очередном заседании доклад под названием „Войны лондонских предместий“. Оповестите об этом Общество, Баулер. И запомните досконально все, что я вам сказал: это крайне важно, а то я уже не помню ни единого слова, так что пришлите-ка мне еще чашечку кофе и несколько сигар – из тех, что у нас заготовлены для пошляков и дельцов. А я буду писать доклад.

«Общество реставрации лондонских древностей» собралось через месяц в крытом жестью зале где-то на задворках, на южной окраине Лондона. Куча народу кое-как расселась под неверными газовыми светильниками, и наконец прибыл король, потный и приветливый. Его появление за маленьким столиком, украшенным стаканом воды, было встречено почтительным гулом.

Председательствующий (мистер Хаггинс) выразил уверенность в том, что все члены Общества были в свое время польщены выступлениями столь именитых докладчиков (внимание, внимание!), как мистер Бертон (внимание, внимание!), мистер Кембридж, профессор Королек (бурные, продолжительные аплодисменты), наш давний друг Питер Джессоп, сэр Уильям Уайт (громкий смех) и других достопримечательных лиц – тем более что никто из них не ударил в грязь лицом (аплодисменты). Но в силу некоторых привходящих обстоятельств данный случай выходит из ряда вон (внимание, внимание!). Насколько он, председатель, помнит, а что касается «Общества реставрации лондонских древностей», то он помнит очень многое (бурные аплодисменты), ни один из докладчиков покамест не носил королевского титула. Короче, он предоставляет слово королю Оберону, который пожелал выступить перед Обществом с небольшим сообщением.

Король начал с того, что его речь может рассматриваться как провозглашение новой общегосударственной политики.

– Я чувствую, – сказал он, – что в этот звездный час моей жизни я смогу открыть сердце лишь членам «Общества реставрации лондонских древностей» (аплодисменты). Если весь мир обратится против моей политики, если поднимется против нее волна народного негодования (нет! нет!), то лишь здесь, среди моих доблестных реставраторов, я сумею, с мечом в руках, встретить судьбу лицом к лицу (бурные аплодисменты).

Его Величество разяснил затем, что, невозвратно дряхлея, он решил отдать свои последние силы возрождению и обострению чувства местного патриотизма в лондонских районах. Многим ли нынче памятны легенды их собственных предместий? Как много таких, что даже и не слыхивали о подлинном происхождении Уондз-уртского Улюлюкания<sup>31</sup>! А взять молодое поколение Челси<sup>32</sup> – кому из них случалось отхватить старинную челсийскую чечетку? В Пимлико больше не пимликуют пимлей. А в Баттерси<sup>33</sup> почти совсем не баттерсеют.

После недоуменного молчания чей-то голос выкрикнул: «Позор!» Король продолжал:

– Будучи призван, хоть и не по заслугам, на высший пост, я решил, поелику возможно, небрежение это пресечь. Нет, я не желаю военной славы. Нет, я не стану состязаться с законодателями – ни с Юстинианом, ниже с Альфредом<sup>34</sup>. Но если я войду в историю, спасаячи старинные английские обычаи, если потомки скажут, что благодаря скромному

---

<sup>31</sup> ... *Уондз-уртское Улюлюканье*. – Уондзуорт – самая большая в Англии тюрьма, предназначенная преимущественно для рецидивистов.

<sup>32</sup> *Челси* – район в западной части Лондона.

<sup>33</sup> *Баттерси* – район в Лондоне, где жил Честертон в 1901–1909 гг.

<sup>34</sup> ...*ни с Юстинианом, ниже с Альфредом*. – Флавий Юстиниан (483–565)-византийский император; Альфред Великий (871-899)-король Уэссекса, саксонского королевства на юго-западе Англии. Честертон пишет о нем в поэме «Белая лошадь», в книге «Краткая история Англии», в эссе «Альберт Великий» и в некоторых других эссе.

властителю в Фулеме<sup>35</sup> по-прежнему надсятеро режут репу, а в Патни приходской священник выбривает полголовы, то я почтительно и бесстрашно взгляну в глаза своим великим пращурам, нисходя в усыпальницу королей.

Король помедлил, явно взволнованный, но собрался с силами и продолжал:

– Вам-то нет нужды объяснять, все вы, за редкими исключениями, знаете величественное происхождение этих легенд. Да и сами названия наших предместий о том свидетельствуют. Покуда Хаммерсмит зовется Хаммерсмитом, то есть кузнечной, дотоле тамошний народ пребудет под защитой своего изначального героя, кузнеца Блэксмита, который возглавил натиск простого бродвейского люда на рыцарство Кенсингтона<sup>36</sup> и сокрушил их незыблемый строй на том месте, которое и поныне, в знак почтения к пролитой голубой крови, называется Кенсингтонские Грязи. И хаммерсмитцы никогда не забудут, что и самое имя Кенсингтона явилось из уст их хаммерсмитского героя. Ибо на примирительном пиршестве, устроенном после войны, когда высокомерные аристократы отказались подпевать бродвейским песням (а песни эти и поныне грубоватые и простецкие), великий вождь протонародья промолвил незамысловатые, но золотые слова: «Птичек, которые могут петь (по-древнему – „кан синг“) в тон, но не поют, надо заставить петь – они у нас кан синг в тон!» С тех пор рыцарей восточных предместий называли кансингами или кенсингами. Но и вы не обделены героической памятью, о кенсингтонцы! Вы показали, что можете петь (по-древнему – «кан синг») – и петь боевые песни! Как ни мрачен был тот день, день Кенсингтонских Грязей, но история не забудет трех рыцарей (по-древнему – Найтов), оборонявших ваше беспорядочное отступление от Гайд-Парка (потому и Гайд, что по-древнеанглийски «гайд» значит прятаться) – и в честь этих трех Найтов мост и назван был Найтсбридж, Рыцарский мост. И не забудется день, когда вы, закаленные в горниле бедствий, очистившись от аристократических наслоений, потеснили с мечом в руке миллю за милей владетелей Хаммерсмита и наконец разгромили их наголову в битве столь кровавой, что одни лишь хищные птицы даровали ей свое имя. С мрачной иронией люди назвали это место Рэвенскорт, воронье гнездовье. Надеюсь, я не оскорбил патриотические чувства Бейзуотера, мрачно-горделивых бромптонцев или другие героические предместья тем, что привел лишь эти два примера. Я выбрал не потому, что они славнее иных, но отчасти по личной причине (я сам – потомок одного из героев Найтсбриджа), отчасти же затем, что я в истории дилетант, сам это сознаю и не дерзаю углубляться в тайны, сокрытые древностью. Не мне судить, кто прав в ученом споре профессора Хрюкка и сэра Уильяма Уиски: то ли Ноттинг-Хилл – это бывшие Енотники (должно быть, леса, покрывавшие эту возвышенность, изобиловали поименованными пушными зверьками), то ли искаженная редукция фразы «Ну, тут никто не хил», ибо древние полагали, что здесь находится рай земной. И если уж Подкинс и Джосси не могут точно определить границы Западного Кенсингтона (а говорят, они были начертаны бычьей кровью), то и мне не стыдно выразить аналогичные сомнения. И позвольте больше не вдаваться в историю; лучше окажите мне поддержку в решении насущных проблем. Неужто же сгинет бесследно прежний дух лондонских предместий? И у кондукторов наших omnibusов, и у наших полицейских навеки погаснет в очах тот смутный свет, который мы столь часто замечаем,

мерцающая память  
О давнишних невзгодах и  
О битвах дней былых,

как писал один малоизвестный поэт, друг моей юности? Вот я и решил, как было

---

<sup>35</sup> *Фулем* – район на юго-западе Лондона.

<sup>36</sup> *Кенсингтон* – западный район Лондона между Холланд-Парком и Кенсингтон-Гарденз.

сказано, по мере возможности сберечь нынешний мечтательный блеск в очах полицейских и кондукторов. Что за государство без мечтаний? Предлагаю же я ниже следующее:

– Наутро, в двадцать пять минут одиннадцатого, если я сподоблюсь дожить до этого времени, я издам Указ. Указ этот – дело всей моей жизни, и он почти наполовину готов. С помощью виски и содовой воды я нынче в ночь допишу его до конца, и завтра мой народ ему внемлет. Все те районы, в которых вы родились и где уповаете сложить кости, да воздвигнутся в своем прежнем великолепии – Хаммерсмит, Кенсингтон, Бейзуотер, Челси, Баттерси, Клэпам, Балэм и не менее сотни прочих. Каждый район, он же предместье, немедля выстроит городскую стену, и ворота в ней будут запираяться на закате. У всех будет Городская стража, герб, и если на го пошло, боевой клич. Я, впрочем, не буду входить в подробности, слишком переполнено чувствами мое сердце. Тем более что все подробности будут перечислены в Указе. Все вы подлежите зачислению в предместную стражу, и созывать вас будет не что иное, как набат: значение этого слова мне пока что не удалось установить. Лично я полагаю, что набат – это некий государственный чиновник, очень хорошо оплачиваемый. Итак, если где-нибудь у вас в доме сыщется что-нибудь вроде алебарды, то упражняйтесь, непременно упражняйтесь с нею где-нибудь в садике.

Тут король от избытка чувств уронил лицо в платок и поспешно удалился с кафедры. Члены Общества – все, как один, – привстали в неопишемом смятении. Кое-кто из них полиловел от возмущения; другие полиловели от смеха: но большей частью никто ничего не понял. Говорят, будто некто, бледный, с горящими голубыми глазами, не спускал взгляда с короля, а когда тот закончил речь, из зала выбежал рыжеволосый мальчишка.

## Глава II СОВЕЩАНИЕ ЛОРД-МЭРОВ

Наутро король проснулся спозаранок и сбежал вниз, прыгая через две ступеньки, как мальчишка. Он поспешно, однако же не без аппетита позавтракал, призвал одного из высших дворцовых сановников и вручил ему шиллинг.

– Ступайте, – сказал он, – и купите мне набор красок ценою в один шиллинг, который продается, если память мне не изменяет, в лавочке на углу второго по счету и весьма грязноватого переулка, кое-как выводящего из Рочестер-роуд. Хозяину королевских гончих псов уже велено в достатке снабдить меня картоном. Я решил, не знаю почему, что это его призвание. Целое утро король забавлялся, благо и картона, и красок вполне хватало. Он придумывал облачения и гербы для новоявленных лондонских городов. Не однажды приходилось ему не на шутку задуматься, и он ощутил тяжкое бремя ответственности.

– Вот чего не могу понять, – сказал он сам себе, – это почему считается, будто деревенские названия поэтичней лондонских. Доморощенные романтики едут поездами и вылезают на станциях, именуемых «Дыра на дыре» или «Плюх в лужу». А между тем они могли бы прийти своими ногами и даже поселиться в районе с загадочным, богоизбранным названием «Лес святого Иоанна». Оно, конечно, меня в Лес святого Иоанна дуриком не заманишь: я испугаюсь. Испугаюсь нескончаемой ночи среди мрачных елей, кровавой чаши и хлопанья орлиных крыльев. Да, я пуглив. Но ведь это все можно пережить и не выходя из вагона, а благоговейно оставаясь в пригородном поезде.

Он задумчиво переиначил свой набросок головного убора для алебардщика из Леса святого Иоанна, выполненного в черном и красном: сосновая лапа и орлиные перья. И пододвинул к себе другой обрезок картона.

– Подумаем лучше о чем-нибудь не таком суровом, – сказал он. – Вот, например, Лавандовая гора! Где, в каких долах и весях могла бы родиться такая благоуханная мысль? Это же подумать – целая гора лаванды, лиловая-лиловая, вздымается к серебряным небесам и наполняет наш нюх небывалым благоуханием жизни – лиловая, пахучая гора! Правда, разъезжая по тамошним местам на полупенсовом трамвае, я никакой горы не приметил; но это вздор, она непременно там, и недаром некий поэт наделил ее столь поэтическим

именем. И уж во всяком случае этого предостаточно, чтобы обязать всех в окрестностях Клэпамского железнодорожного узла носить пышные лиловые плюмажи (в напоминание о растительной ипостаси лаванды). У меня в конце-то концов везде так. На юге Лондона, в Саутфилдз, я и вовсе не бывал, но думаю, что символические изображения лимонов и олив под стать субтропическим наклонностям тамошних обывателей. Или взять тот же Пасторский Луг: опять-таки не довелось мне там побывать, повидать Луг или хотя бы Пастора, однако же бледно-зеленая пасторская шляпа с загнутыми полями наверняка придется ко двору. Нет, работать надо вслепую, надо больше доверять собственным инстинктам. Нешуточная любовь, которую я питаю к своим народам, разумеется же, не позволит мне нанести урон их высшим устремленьям или оскорбить их великие традиции.

Пока он вслух размышлял в этом духе, двери растворились и глашатай возвестил о прибытии мистера Баркера и мистера Ламберта.

Мистер Баркер и мистер Ламберт не слишком удивились, увидев короля на полу посреди кипы акварельных эскизов. Они не слишком удивились, потому что прошлый раз он тоже сидел на полу посреди груды кубиков, а в позапрошлый – среди вороха никуда не годных бумажных голубков. Однако бормотанье царственного инфанта, ползавшего среди инфантильного хаоса, на этот раз настораживало.

Поначалу-то они пропускали его мимо ушей, понимая, что вздор этот ровным счетом ничего не значит. Но потом Джеймса Баркера исподволь обуюла ужасная мысль. Он подумал – а вдруг да его бормотанье на этот раз не пустяковое.

– Ради Бога, Оберон, – внезапно выкрикнул он, нарушая тишину королевских покоев, – ты что же, взаправду хочешь завести городскую стражу, выстроить городские стены и тому подобное?

– Конечно, взаправду, – отвечало более чем безмятежное дитя. – А почему бы мне этого и не сделать? Я в точности руководствовался твоими политическими принципами. Знаешь ли, что я совершил, Баркер? Я вел себя как подлинный баркерианец. Я... но, пожалуй, тебя едва ли заинтересует повесть о моем баркерианстве.

– Да ну же, ну, говори! – воскликнул Баркер.

– Ага, оказывается, повесть о моем баркерианстве, – спокойно повторил Оберон, – тебя не только заинтересовала, но растревожила. А тревожиться-то нечего, все очень просто. Дело в том, что лорд-мэров отныне будут избирать по тому же принципу, который вы утвердили для избрания самодержца. Согласно моей хартии, всякий лорд-мэр всякого града назначается алфавитно-лотерейным порядком. Так что спите и далее, о мой Баркер, все тем же младенческим сном.

Взор Баркера вспыхнул негодованием.

– Но Господи же, Квин, ты неужели не понимаешь, что это совершенно разные вещи? На самом верху это не так уж и существенно, потому что весь смысл самодержавия – просто-напросто некоторое единение! Но если везде и повсюду, черт побери, у власти окажутся, черт бы их взял...

– Я понял, о чем ты печешься, – спокойно проговорил король Оберон. – Ты опасаясь, что твоими дарованиями пренебрегут. Так внимай же! – И он выпрямился донельзя величаво. – Сим я торжественно дарую моему верноподданному вассалу Джеймсу Баркеру особую и сугубую милость – вопреки букве и духу Хартии Предместий я назначаю его полномочным и несменяемым лорд-мэром Южного Кенсингтона. Вот так, любезный Джеймс, получи по заслугам. Засим – всего доброго.

– Однако... – начал Баркер.

– Аудиенция окончена, лорд-мэр, – с улыбкой прервал его король.

Видно, он был уверен в будущем, но оправдало ли будущее его уверенность – вопрос сложный. «Великая декларация Хартии Свободных Предместий» состоялась своим чередом в то же утро, и афиши с текстом Хартии были расклеены по стенам дворца, и сам король воодушевленно помогал их расклеивать, отбегал на мостовую, свешивал голову набок и оценивал, какова афиша. Ее, Хартию, носили по главным улицам рекламщики, и короля



едва-едва удержали от соучастия, когда он уже влез между двух щитов, Главный Постельничий и капитан Баулер. Его приходилось успокаивать буквально как ребенка.

Принята была Хартия Предместий, мягко говоря, неоднозначно. В каком-то смысле она стала довольно популярной. Во многих счастливых семьях это достопримечательное законоуложение читали вслух зимними вечерами под радостный хохот – после того, разумеется, как были изучены до последней буквы сочинения нашего странного, но бессмертного древнего классика У.-У. Джекобса. Но когда обнаружилось, что король самым серьезным образом требует исполнения своих предписаний и настаивает, чтобы эти фантастические предместья с набатами и городской стражей были воистину воссозданы, – тут воцарилось сердитое замешательство. Лондонцы в общем ничего не имели против того, чтобы их король валял дурака; но дурака-то надлежало валять им – и посыпались возмущенные протесты.

Лорд-мэр Достолюблестного Града Западного Кенсингтона направил королю почтительное послание, где разъяснялось, что он, конечно же, готов по мере государственной надобности во всех торжественных случаях соблюдать предписанный королем церемониал, однако же ему, скромному домовладельцу, как-то не к лицу опускать открытку в почтовый ящик в сопровождении пяти герольдов, с трубными звуками возглашающих, что лорд-мэр благоволит прибегнуть к услугам почты.

Лорд-мэр Северного Кенсингтона, преуспевающий сукнодел, прислал краткую деловую записку, точно жалобу в железнодорожную компанию: он извещал, что постоянное сопровождение приставленных к нему алебардщиков в ряде случаев чревато неудобствами. Так, лично он без труда садится в омнибус, следующий в Сити, алебардщики же испытывают при этом затруднения – с чем имею честь кланяться и т. д.

Лорд-мэр Шепердс-Буша сетовал от лица супруги на то, что в кухне все время толкутся посторонние мужчины.

Монарх с неизменным удовольствием выслушивал сообщения о подобных неурядицах, вынося милостивые, истинно королевские решения; однако он совершенно категорически настаивал, дабы жалобы приносились ему с полной помпой – с алебардами, плюмажами, под звуки труб – и лишь немногие сильные духом осмеливались выдерживать восторги уличных мальчишек.

Среди таковых выделялся немногословный и деловой джентльмен – правитель Северного Кенсингтона, и долго ли, коротко, а довелось ему обратиться к королю по вопросу не столь частному и даже более насущному, нежели размещение алебардщиков в омнибусе. На долгие годы этот великий вопрос лишил покоя и сна всех подрядчиков и комиссионеров от Шепердс-Буша до Марбл-Арч<sup>37</sup>, от Уэстборн-Гроув до кенсингтонской Хай-стрит. Я говорю, разумеется, о грандиозном замысле реконструкции Ноттинг-Хилла, разработанном под началом мистера Бака, хваткого северокексингтонского текстильного магната, и мистера Уилсона, лорд-мэра Бейзуотера. Планировалось проложить широченную магистраль через три района, через Западный Кенсингтон, Северный Кенсингтон и Ноттинг-Хилл, соединив тем самым Хаммерсмитский Бродвей с Уэстборн-Гроув. Десять лет потребовалось на сговоры и сделки, куплю-продажу, запугивания и подкупы, и к концу десятилетия Бак, который занимался всем этим чуть ли не в одиночку, выказал себя подлинным хозяином жизни, великолепным дельцом и поразительным предпринимателем. И вот, как раз когда его завидное терпение и еще более завидное нетерпение увенчались успехом, когда рабочие уже рушили дома и стены, пролагая хаммерсмитскую трассу, возникло внезапное препятствие, ни сном ни духом никому не чудившееся, препятствие маленькое и нелепое, которое, точно песчинка в смазке, затормозило весь грандиозный проект; и мистер Бак, сукнодел, сердито облачившись в свои официальные одежды и призвав с зубовным скрежетом своих

---

<sup>37</sup> *От Шепердс-Буша до Марбл-Арч.* – То есть от западной окраины до центра города. Шепердс-Буш – улица на западе Лондона; Марбл-Арч – триумфальная арка (1828 г.), некогда украшавшая вход в Букингемский дворец.

алебардщиков, поспешил на прием к королю.

За десять лет король не пресытился дурачеством. Все новые и новые лица глядели на него из-под когда-то нарисованных плюмажей – пастушьего убранства Шепердс-Буша или мрачных клобуков Блэкфрайерз-роуд. И аудиенцию, испрошенную лорд-мэром Северного Кенсингтона он предвкушал с особым наслаждением – ибо, говаривал он, «по-настоящему оцениваешь всю пышность средневековых одеяний, лишь когда те, кто облекся в них поневоле, очень сердиты и сверхделовиты».

Мистер Бак отвечал обоим условиям. По мановению короля распахнулись двери приемной палаты, и на пороге появился лиловый глашатай из краев мистера Бака, изукрашенный большим серебряным орлом, которого король даровал в герб Северному Кенсингтону, смутно памятуя о России: он твердо стоял на том, что Северный Кенсингтон – это полуарктическая провинция королевства. Глашатай возвестил, что прибывший оттуда лорд-мэр просит королевской аудиенции.

– Мэр Северного Кенсингтона? – переспросил король, изящно приосанившись. – Какие же вести принес он из высокогорного края прекрасных дев? Мы рады его приветствовать.

Глашатай взошел в палату, и за ним немедля последовали двенадцать лиловых стражей, а за ними – свитский, несший хоругвь с орлом, а за ним – другой свитский с ключами города на лиловой подушке и, наконец, – мистер Бак, отнюдь не настроенный терять время попусту. Увидев его массивную физиономию и суровый взгляд, король понял, что перед ним стоит истинный бизнесмен, и пришел в тихий восторг.

– Ну что же, – сказал он, чуть не вприпрыжку спустившись на две-три ступени с помоста и прихлопнув в ладоши, – счастлив видеть вас. Не важно, не важно, не волнуйтесь. Подумаешь, большое дело – церемонии!

– Не понял, о чем толкует Ваше Величество, – угрюмо отозвался лорд-мэр.

– Да не важно, не важно все это, – весело повторил король. – Этикет этикетом, но не в нем же в конце концов дело – другой-то раз, я уверен, не оплошаете!

Бизнесмен мрачно взглянул на короля из-под насупленных черных бровей и снова спросил без малейшей учтивости:

– Опять-таки не понял?

– Да ладно, ладно уж, – добродушно ответил король, – раз вы спрашиваете – пожалуйста, хотя лично я не придаю особого значения церемониям, для меня важнее простосердечие. Но обычно – так уж принято, ничего не поделаешь, – являясь пред царственные очи, положено опрокинуться навзничь, задрав пятки к небесам (ко всевышнему источнику королевской власти), и троекратно возгласить: «Монархические меры совершенствуют манеры». Но чего там, ладно – ваша прямота и душевность стоят дороже всякой помпы.

Лорд-мэр был красен от злости, однако же смолчал.

– Ну что мы, право, о пустяках, – сказал король, как бы отводя разговор в сторону и снисходительно улещивая грубияна, – ведь какие дивные стоят погоды! Должно быть, вам, милорд, тепловато в служебном облаченье: оно скорее пристало для ваших снеговых просторов.

– Да, в нем черт знает как жарко, – отозвался Бак. – Я, впрочем, пришел по делу.

– Вот-вот, – сказал король и по-идиотски внушительно закивал головой, – вот-вот-вот. Как сказал старый добрый грустный персиянин, – да, дела-делишки. Не отлынивай. Вставай с рассветом. Держи хвост пистолетом. Пистолетом держи хвост, ибо не ведаешь ни откуда явишься, ни зачем<sup>38</sup>. Держи пистолетом хвост, ибо неведомо тебе ни когда отыдешь, ниже куда.

Лорд-мэр вытащил из кармана ворох бумаг и яростно их расправил.

---

38 *...не ведаешь, ни откуда явишься, ни зачем.* – Ср. слова Иисуса Христа «Я знаю, откуда пришел и куда иду». Иоанн, 8, 14.

– Может, Ваше Величество когда-нибудь слышали, – саркастически начал он, – про Хаммерсмит и про такую штуку, называемую шоссе. Мы тут десять лет копаемся – покупаем, откупаем, выкупаем и перекупаем земельные участки, и вот наконец, когда все почти что покончено, дело застопорилось из-за одного болвана. Старина Прут, бывший лорд-мэр Ноттинг-Хилла, был человек деловой, и с ним мы поладили в два счета. Но он умер, и лорд-мэром по жребию, черт бы его взял, стал один юнец по имени Уэйн, и пропади я пропадом, если понимаю, куда он клонит. Мы ему предлагаем цену немислимую, а он тормозит все дело – заодно вроде бы со своим советом. Чокнулся, да и только!

Король, который отошел к окну и рассеянно рисовал на стекле нос лорд-мэра, при этих словах встрепенулся.

– Нет, как сказано, а? – восхитился он. – «Чокнулся, да и только!»

– Тут суть дела в чем, – упорно продолжал Бак, – тут единственно о чем речь – это об одной поганой улочке, о Насосном переулке, там ничего и нет, только пивная, магазинчик игрушек, и тому подобное. Все добропорядочные ноттингхилльцы согласны на компенсацию, один этот обалделый Уэйн цепляется за свой Насосный переулок. Тоже мне, лорд-мэр Ноттинг-Хилла! Если на то пошло, так он – лорд-мэр Насосного переулка!

– Неплохая мысль, – одобрил Оберон. – Мне нравится эта идея – назначить лорд-мэра Насосного переулка. А что бы вам оставить его в покое?

– И завалить все дело? – выкрикнул Бак, теряя всякую сдержанность. – Да будь я проклят! Черта с два. Надо послать туда рабочих – и пусть сносят все как есть, направо и налево!

– Кенсингтонский орел пощады не знает! – воскликнул король, как бы припоминая историю.

– Я вот что вам скажу, – заявил вконец обозленный Бак. – Если бы Ваше Величество соизволило не тратить время попусту на оскорбление подданных, порядочных людей всякими там, черт его знает, гербами, а занялись бы серьезными государственными делами...

Король задумчиво насупил брови.

– Кому как, а мне нравится, – сказал он. – Надменный бюргер бросает вызов королю в его королевском дворце. Бюргеру надлежит откинуть голову, простерши правую длань; левую надо бы воздеть к небесам, но это уж как вам подсказывает какое ни на есть религиозное чувство. А я, погодите-ка, откинусь на троне в недоуменной ярости. Вот теперь давайте, еще раз.

Бак приготовился что-то рявкнуть, но не успел промолвить ни слова: в дверях появился новый глашатай.

– Лорд-мэр Бейзуотера, – объявил он, – просит аудиенции.

– Впустите, – повелел Оберон. – Надо же – какой удачный день.

Алебардщики Бейзуотера были облачены в зеленое, и знамя, внесенное за ними, украшал лавровый венок на серебряном поле, ибо король, посоветовавшись с бутылкой шампанского, решил, что именно таким гербом должно наделять древний град Бейзуотер.

– Да, это вам подходит, – задумчиво промолвил король. – Носите, носите свой лавровый венок. Фулему, может статься, нужно богатство, Кенсингтон притязает на изящество, но что нужно людям Бейзуотера, кроме славы?

Следом за знаменем, выбравшись из его складок, появился лорд-мэр в лавровом венке и роскошном зелено-серебряном облачении с белой меховой опушкой. Он был суетливый человек, носил рыжие баки и владел маленькой кондитерской.

– О, наш кузен из Бейзуотера! – восхищенно вымолвил король. – Чем обязаны? Бейзуотерским только дай, – пробормотал он во всеуслышание, – слопают так, что ай! – и примолк.

– Я, это, явился к Вашему Величеству, – сообщил лорд-мэр Бейзуотера по фамилии Уилсон, – насчет Насосного переулка.

– А я только что имел случай разъяснить наше дело Его Величеству, – сухо заметил Бак, вновь обретая подобие вежливости. – Я, впрочем, не уверен, насколько понятно Его

Величеству, что дело и вас касается.

– Касается нас обоих, знаете ли, Ваше Величество, всей округе будет хорошо, и нам тоже. Мы тут, я и мистер Бак, на пару пораскинули мозгами...

Король хлопнул в ладоши.

– Великолепно! – воскликнул он. – Мозгами – на пару! Как сейчас вижу! А теперь можете на пару пораскинуть? Пораскиньте, прошу вас!

Алебардщики изо всех сил старались не смеяться, мистер Уилсон просто-напросто растерялся, а мистер Бак ощерился.

– Ну, если на то пошло, – начал он, но король прервал его мановением руки.

– Спокойно, – сказал он, – кажется, это не конец. Вот еще кто-то идет, уже не глашатай ли, ишь как сапоги скрипят!

И в это время в дверях возгласили:

– Лорд-мэр Южного Кенсингтона просит аудиенции.

– Как, лорд-мэр Южного Кенсингтона! – воскликнул король. – Да это же мой старый приятель Джеймс Баркер! Чего ему надо, хотел бы я знать? Как подсказывает мне – надеюсь, неложно – память о дружбе юных лет, зря он не явится: ему, наверно, деньги нужны. А, Джеймс, вот и вы!

За пышносиней стражей и синим знаменем с тремя золотыми Певчими птахами в палату ворвался синий с золотом мистер Баркер. Облачение его – несуразное, как и у прочих – было ему столь же омерзительно, однако же гляделось на нем не в пример лучше. Будучи джентльменом, а вдобавок красавцем и щеголем, он невольно носил свой нелепый наряд именно так, как его следовало носить. Заговорил он сразу, но поначалу запнулся, едва не адресовавшись к старому знакомцу на прежний манер.

– Ваше... э-э... Величество, извините мое вторжение. Я – насчет одного типа с Насосного переулка. Ага, Бак здесь, так что все, что надо, вам уже, наверно, сказали. Я должен...

Король настороженно окинул взором палату – пестрое смешение трех одеяний.

– Вот что надобно, – сказал он.

– Да-да, Ваше Величество, – поспешно подхватил владыка Бейзуотера мистер Уилсон. – Ваше Величество изволили сказать «надобно» – что надобно-то?

– Надобно подбавить желтого, – молвил король. – Пошлите-ка за лорд-мэром Западного Кенсингтона.

Невзирая на слегка недоуменный ропот, за ним было послано, и он явился – со своими канареечными алебардщиками, в своем шафрановом облачении, отирая лоб платком. Да и то сказать, все-таки шоссе пролегало через его район, не мешало б и его выслушать.

– Добро пожаловать, Западный Кенсингтон, – обратился к нему король. – Давно, давно желал я повидать вас касательно Хаммерсмитского пустыря – ну, той самой спорной земли южнее ночлежки Раутона. А что бы вам арендовать ее у лорд-мэра Хаммерсмита на вассальных началах? Невелик поклон, как подумаешь: поможете ему надеть пальто в левый рукав – и шествуйте себе восвояси с развернутыми знаменами.

– Нет, Ваше Величество; это, собственно говоря, совершенно необязательно, – отвечал лорд-мэр Западного Кенсингтона, бледный молодой человек с белокурыми усами и бакенбардами, владелец превосходной сыроварни.

Король крепко хлопнул его по плечу.

– Ох, и горяча кровь у вашего брата, западного кенсингтонца! – сказал он. – Да, уж вам лучше не предлагай кому-нибудь поклониться!

И он снова оглядел палату. Она пылала закатным многоцветием, и отрадно было ему это зрелище, доступное столь немногим художникам: зрелище собственных грез, блещущих во плоти. Желтые наряды стражников Западного Кенсингтона казались еще желтее на фоне темно-синего убранства южных кенсингтонцев, а густая синева вдруг светлела, разливалась зеленью почти лесной: за ними стояли бейзуотерцы. И поверх прочих высились и угрюмо чернели лиловые плюмажи Северного Кенсингтона.

– А все ж таки чего-то как будто не хватает, – сказал король, – не хватает, и все тут. Чего бы это... Ах, вот чего! Вот чего не хватало!

В дверях появилась новая фигура, ярко-алый глашатай. Он зычно возгласил со спокойным достоинством:

– Лорд-мэр Ноттинг-Хилла просит аудиенции.

### Глава III ТЕ ЖЕ И ПОЛОУМНЫЙ

Царь эльфов, в честь которого, вероятно, был назван король Оберон, в тот день явственно благоволил своему тезке: явление ноттингхильской стражи доставило ему новую, более или менее неизъяснимую радость. Разодетые в красочные облачения стражники Бейзуотера и Южного Кенсингтона – жалкий сброд, разнорабочие и рекламщики, нанятые по случаю королевской аудиенции, входили в палату как бы нехотя, с несчастным видом, и король на свой лад наслаждался: до чего же их оружие и наряд не шли к унылым, вялым лицам! Зато алебардчики Ноттинг-Хилла в алых хламидах с золотой опояской были до смешного суровы. Казалось, они, как бы сказать, вошли в игру. И вошли в палату, отбивая шаг, и построились лицом к лицу двумя шеренгами, на диво слаженно и четко.

Они внесли желтое знамя с красным львом: король пожаловал Ноттинг-Хиллу этот герб в память о маленьком окрестном кабачке, куда он, бывало, частенько хаживал.

Между двумя шеренгами стражников к королю приближался высокий рыжеволосый юноша с крупными чертами лица и яростными голубыми глазами. Можно бы его назвать и красивым, однако же нос его, пожалуй что, был великоват, да и ступни тоже велики не по ногам – словом, неуклюжий юнец. Согласно королевской геральдике, он был в алом облачении и, в отличие от всех остальных лорд-мэров, препоясан огромным мечом. Это был Адам Уэйн, несговорчивый лорд-мэр Ноттинг-Хилла.

Король уселся поудобнее, потирая руки.

«Ну и денек, ах и денек! – сказал он про себя. – Сейчас будет свара. Вот уж не думал, что так позабавлюсь. Те-то лорд-мэры – возмущенные, благоразумные, в себе уверенные. А этот, по глазам судя, возмущен не меньше их. Н-да, по глазам: судя по этим голубым глазищам, он ни разу в жизни не пошутил. Он, стало быть, сцепится с прочими, они сцепятся с ним, и все они вместе взятые, изнывая от радости, накинутся на меня».

– Приветствую вас, милорд! – сказал он вслух. – Каковы вести с Горы, овейной сонмищем легенд? Что вы хотите донести до ушей своего короля? Я знаю: между вами и сопричастующими нашими кузенами возникли распри – мне, королю, подобает их уладить. Ведь я нимало не сомневаюсь, да и не могу сомневаться, что ваша любовь ко мне не уступает их чувствам: она столь же нежная и столь же пылкая.

Мистер Бак скроил гримасу, Джеймс Баркер скривил ноздри; Уилсон захихикал, а лорд-мэр Западного Кенсингтона смущенно подхихикнул. Но по-прежнему ясно глядели огромные голубые глаза Уэйна, и его ломкий юношеский голос разнесся по палате.

– Я пришел к своему королю. И повергаю к его стопам единственное свое достояние – свой меч.

Он с размаху бросил меч к подножию трона и встал на одно колено. Воцарилась мертвая тишина.

– Извините, не понял, – тускло промолвил король.

– Сир, вы хорошо сказали, – ответил Адам Уэйн, – и речь ваша, как всегда, внятна сердцу: а сказали вы о том, что моя любовь к вам не уступает их чувствам. Невелика была бы моя любовь к вам, если бы она им уступала. Ибо я – наследник вашего замысла, дитя великой Хартии. Я отстаиваю права, дарованные Хартией, и клянусь вашей священной короной, что буду стоять насмерть.

Четыре лорд-мэра и король разом выпучили глаза. Потом Бак сказал скрипучим, насмешливым голосом:

– Это что, все с ума посходили?

Король вскочил на ноги, и глаза его сверкали.

– Да! – радостно воскликнул он. – Да, все посходили с ума, кроме Адама Уэйна и меня. Я был сто раз прав, когда, помните, Джеймс Баркер, я сказал вам, что все серьезные люди – маньяки. Вы – маньяк, потому что вы свихнулись на политике – это все равно, что собирать трамвайные билеты. Бак

– маньяк, потому что он свихнулся на деньгах – это все равно, что курить опиум. Уилсон – маньяк, потому что он свихнулся на своей правоте – это все равно, что мнить себя Господом Богом. Лорд-мэр Западного Кенсингтона – маньяк, потому что он свихнулся на благопристойности – а это все равно, что воображать себя каракатицей. Маньяки – все, кроме юмориста, который ни к чему не стремится и ничем не владеет. Я думал, что в Англии всего один юморист. Болваны! олухи! протрите глаза: нас оказалось двое! В Ноттинг-Хилле, на этом неприглядном бугорке, появился на свет художник!

Вы думали переиграть меня, занудить мой замысел – и становились все современнее и практичнее, все напористее и благоразумнее. А я это с полным удовольствием парировал, делаясь все величавее, все милостивее, все старозаветнее и благосклоннее. Где вам за мной угнаться? Зато этот паренек обыграл меня в два хода: жест на жест, фраза на фразу. Такой заслон, как у него, я одолеть не могу – это заслон непроницаемой выпренности. Да вы его самого послушайте. Итак, вы явились ко мне, милорд, дабы отстаивать Насосный переулок?

– Дабы отстаивать град Ноттинг-Хилл, – горделиво ответил Уэйн, – живую и неотъемлемую часть которого являет Насосный переулок.

– Невелика часть, – презрительно бросил Баркер.

– Достаточно велика, чтобы богатеи на нее зарились, – заметил Уэйн, вскинув голову, – а беднота встала на ее защиту.

Король хлопнул себя по ляжкам и восторженно потряс ногами.

– Все достойные представители Ноттинг-Хилла, – вступил Бак, хрипловато и презрительно, – на нашей стороне, все они против вас. У меня масса друзей в Ноттинг-Хилле.

– В друзья вам годятся лишь те, кто продает за ваше золото чужой домашний очаг, – отвечал лорд-мэр Уэйн. – Да, У вас достойные друзья, и все по сходной цене.

– Ну, они хоть не торговали грязными безделушками, – хохотнул Бак.

– Безделушек грязнее, чем они сами, свет не видывал, – спокойно возразил Уэйн, – а собой они торгуют.

– Сдавайтесь, разлюбезный Бак-Бачок, – посоветовал король, весело ерзая на троне. – Куда вам супротив рыцарственного красноречия? Где вам состязаться с художником жизни, с новоявленным ноттингхилльским юмористом? Ох, ныне, как говорится, отпускаешь! – до какого славного дня я дожил! Лорд-мэр Уэйн, вы твердо стоите на своем?

– Кто попробует меня сдвинуть – узнает, – отвечал Уэйн. – Я и раньше стоял твердо, неужели же дрогну теперь, узрев своего суверена? Ибо я отстаиваю то, что превыше – если бывает превыше – нерушимости наших домашних очагов и незыблемости нашего града. Я отстаиваю ваше царственное ясновидение, великую вашу мечту о Свободном Союзе Свободных Городов. Вы сами препоручили мне это.

Был бы я нищий, и мне бы швырнули монету, был бы крестьянин, и меня одарили б за пляску – разве отдал бы я разбойникам с большой дороги милостыню или подарок? А моя скромная власть и свободы Ноттинг-Хилла дарованы Вашим Величеством, и если попробуют отобрать эти милостивые подарки, то, клянусь Богом! отберут лишь в бою, и шум этого боя раскатится по равнинам Челси, а живописцы Леса святого Иоанна содрогнутся в своих мастерских!

– Это уж чересчур, это уж чересчур, – возразил король. – Смилуйте над человеческой природой! Нет, брат мой художник, далее нам должно беседовать в открытую, и я торжественно вопрошаю вас: Адам Уэйн, лорд-мэр Ноттинг-Хилла, не правда ли, это великолепно?

– Еще бы не великолепно! – воскликнул Адам Уэйн. – Великолепно, как творение

Господне!

– Опять сдаюсь,– сказал король.– Да, трудненько вас сбить с позиции. В насмешку-то все это серьезно, не спорю. Но всерьез-то – неужели не смешно?

– Что смешно? – спросил Уэйн, по-детски округлив глаза.

– Черт побери, ну перестаньте же паясничать. Да вся эта затея с Хартией предместий. Разве не потрясающе?

– Столь ослепительный замысел поистине можно назвать потрясающим

– Ну что ты с ним будешь делать! Ах, впрочем, понимаю. Вы хотите без них, без этих рассудительных олухов, хотите, чтоб два юмориста потолковали с глазу на глаз. Оставьте нас, джентльмены!

Бак покосился на Баркера, тот угрюмо пожал плечами, и вся пестрая свита – синие и зеленые, красные с золотом и лиловые,– вскружившись хороводом, удалилась из палаты. Остались лишь двое: король на тронном помосте и коленапреклоненная у брошенного меча фигура в алом облачении.

Король спустился с помоста и хлопнул лорд-мэра Уэйна по спине.

– Еще до сотворения тверди,– возгласил он,– мы были созданы друг для друга. Красота-то какая, подумать только: декларация независимости Насосного переулка! Это же сущее обожествление смехотворного!

Лорд-мэр порывисто вскочил с колен и едва устоял на ногах.

– Как смехотворного! – Голос его сорвался, лицо покраснелось.

– Ну будет, будет,– нетерпеливо сказал король,– для меня одного можно так не стараться. Авгуры – и те иногда смаргивают: глаза все-таки устают. Выйдем из ролей на полчаса, побудем театральными критиками. Что, оценили затею?

Адам Уэйн по-мальчишески потупился и отвечал сдавленным голосом:

– Я не понимаю Ваше Величество. И не могу поверить, что Ваше Величество бросит меня, готового отдать жизнь за вашу королевскую Хартию, на растерзание этой своре ростовщиков.

– Ох, да оставьте же... Это еще что такое? Какого черта?...

Палата наполнилась предвечерним сумраком. Король всмотрелся в лицо юного лорд-мэра: тот был бледен как мел, и губы его дрожали.

– Боже мой, что случилось? – спросил Оберон, хватая его за руку.

Уэйн поднял голову; на щеках его блистали слезы.

– Я всего лишь мальчишка,– сказал он,– но это правда. Я готов кровью нарисовать на своем щите Красного Льва.

Король Оберон уронил его руку и оцепенело замер.

– Господи, святая воля Твоя! – наконец вымолвил он.– Возможно ли, чтобы хоть один человек меж четырех британских морей принимал Ноттинг-Хилл всерьез?

– Да будет святая воля Его! – пылко подхватил Уэйн.– Возможно ли, чтобы хоть один человек меж четырех британских морей не принимал всерьез Ноттинг-Хилл?

Король ничего не ответил; он рассеянно взошел на помост, снова уселся на трон и слегка взбрыкнул ногами.

– Ну, если и дальше так пойдет,– тихо сказал он,– я усомнюсь в превосходстве искусства над жизнью. Ради всего святого, не морочьте мне голову Вы что, на самом деле... Боже, помоги выговорить! – ноттингхилльский патриот, вы действительно...?

Уэйн встрепенулся, и король замахал на него руками.

– Хорошо, хорошо, вижу – да, действительно, но дайте же мне освоиться с этой мыслью! И вы взаправду собрались противиться этим воротилам новейших дней с их комитетами, инспекторами, землемерами и прочей саранчой?

– Разве они так уж страшны? – презрительно отозвался Уэйн.

Король разглядывал его, словно чудо-юдо в человеческом облике.

– И стало быть,– сказал он,– вы думаете, что зубодеры, лавочники и старые девы, населяющие Ноттинг-Хилл, соберутся под ваше знамя с воинственными песнопениями?

– Я думаю, что у них на это станет духу, – отвечал лорд-мэр.

– И стало быть, – продолжал король, откинувшись затылком на мягкую спинку, – вам никогда не приходило на ум, – и голос его, казалось, вот-вот заглохнет в тиши тронного зала, – не приходило на ум, что такое пылкое ноттингхилльство может кому-нибудь показаться... э-э... несколько смехотворным?

– Непременно покажется, – сказал Уэйн, – а как же иначе? Разве над пророками не измывались?

– Да откуда же, – спросил король, подавшись к собеседнику, – откуда же, о Господи, взялась-то у вас эта бредовая идея?

– Моим наставником были вы, сир, – отвечал лорд-мэр, – вы внушили мне понятия о чести и достоинстве.

– Я? – сказал король.

– Да, Ваше Величество, вы взлелеяли мой патриотизм в зародыше. Десять лет назад, совсем еще ребенком (сейчас мне девятнадцать), я играл сам с собой в войну на склоне ноттингхилльского холма, возле Насосного переулка – в бумажной каске, с деревянным мечом в руке я мечтал о великих битвах. Замечтавшись, я сделал яростный выпад мечом – и застыл на месте, ибо нечаянно ударил вас, сир, своего короля, тайно и скрытно блуждавшего по городу, пекущегося о благоденствии своих подданных. Но пугаться мне было нечего: вы обошлись со мной воистину по-королевски. Вы не отпрянули и не насупились. Вы не призвали стражу. И ничем не пригрозили. Напротив того, вы произнесли величественные и огневые слова, поныне начертанные в моей душе, где они и пребудут: вы повелели мне обратить меч против врагов моего нерушимого града. Точно священник, указующий на алтарь, вы указали на холм Ноттинг-Хилла. «Покуда ты, – сказали вы, – готов погибнуть за это священное возвышение, пусть даже его обступят все несметные полчища Бейзуотера...» Я не забыл этих слов, а нынче они мне особо памятливы: пробил час, и сбылось ваше пророчество. Священное возвышение обступили полчища Бейзуотера, и я готов погибнуть.

Король полулежал на своем троне: у него недоставало ни слов, ни сил.

– Господи Боже ты мой! – бормотал он. – Ну и дела, ну и дела! И все мои дела! Оказывается, это я всему виною. А вы, значит, тот рыжий мальчишка, который ткнул меня в живот. Что я натворил? Боже, что я натворил! Я-то хотел просто-напросто пошутить, а породил страсть. Я сочинял фарс, а он, того и гляди, обернется эпосом. Ну что ты будешь делать с этим миром? Ей-богу же, задумано было лихо, исполнялось грубо. Я отринул свой тонкий юмор, лишь бы вас позабавить – а вы, наоборот, готовы в слезы удариться? Вот и устраивай после этого балаган, размахивай сосисками – скажут, ах, какие гирлянды; руби башку полицейскому – скажут, погиб при исполнении служебных обязанностей! И чего я разглагольствую? С какой стати я пристаю с вопросами к милейшему молодому человеку, которому хоть кол на голове теши? Какой в этом толк? Какой вообще толк в чем бы то ни было? О, Господи! О, Господи! Внезапно он выпрямился и спросил:

– Нет, вам и правда священный град Ноттинг-Хилл не кажется нелепицей?

– Нелепицей? – изумился Уэйн. – Почему же нелепицей? Король поглядел на него столь же изумленно.

– Как то есть... – пролепетал он.

– Ноттинг-Хилл, – сурово сказал лорд-мэр, – это большой холм, городское возвышение, на котором люди построили свои жилища, где они рождаются, влюбляются, молятся, женятся и умирают. Почему же мне считать Ноттинг-Хилл нелепицей?

Король усмехнулся.

– Да потому, о мой Леонид<sup>39</sup>, – начал он и вдруг ни с того ни с сего понял, что дальше сказать ему нечего. В самом деле, почему же это нелепица? Почему? На минуту ему

---

<sup>39</sup> **Леонид** – царь Спарты (491-480 до н. э.), защищавший ущелье Фермопилы от персидского царя Ксеркса.



показалось, что он вовсе потерял рассудок. Так бывает со всеми, у кого ставят под вопрос изначальный принцип жизни. Баркер, например, всегда терялся, услышав королевский вопрос: «А какое мне дело до политики?»

Словом, мысли у короля разбежались, и собрать их не было никакой возможности.

– Ну как, все-таки это немножко смешно, – неопределенно выразился он.

– Как по-вашему, – спросил Адам, резко повернувшись к нему, – по-вашему, распятие – дело серьезное?

– По-моему... – замялся Оберон, – ну, мне всегда казалось, что распятие – оно не лишено серьезности.

– И вы ошибались, – сказал Уэйн, как отрезал. – Распятие – смехотворно. Это сущая потеха. Это – нелепая и позорная казнь, надругательство, которому подвергали жалкий сброд – рабов и варваров, зубодеров и лавочников, как вы давеча сказали. И вот кресты, эти древние виселицы, которые римские мальчишки для пушного озорства рисовали на стенах, ныне блещут над куполами храмов. А я, значит, убоюсь насмешки?

Король промолчал.

Адам же продолжал, и голос его гулко отдавался в пустой палате.

– Напрасно вы думаете, что убийственный смех непременно убивает. Петра, помните, распяли, и распяли вниз головой. Куда уж смешнее – почтенный старик апостол вверх ногами? Ну и что? Так или иначе распятый Петр остался Петром. Вверх ногами он висит над Европой, и миллионы людей не мыслят жизни помимо его церкви.

Король Оберон задумчиво приподнялся.

– Речи ваши не вполне бессмысленны, – сказал он. – Вы, похоже, немало поразмышляли, молодой человек.

– Скорее почувствовал, сир, – отвечал лорд-мэр. – Я родился, как и все прочие, на клочочке земли и полюбил его потому, что здесь я играл, здесь влюбился, здесь говорил с друзьями ночи напролет, и какие дивные это были ночи! И я почуял странную загадку. Чем же так невзрачны и будничны садики, где мы признавались в любви, улицы, по которым мы проносили своих усопших? Почему нелепо видеть почтовый ящик в волшебном ореоле, если целый год при виде одного такого красного ящика на желтом закате я испытывал чувство, тайна которого ведома одному Богу, но которое сильнее всякой радости и всякого горя? Что смешного можно услышать в словах «Именем Ноттинг-Хилла»? – то есть именем тысяч бессмертных душ, томимых страхом и пламенеющих надеждой?

Оберон старательно счищал соринку с рукава, и в лице его, по-новому серьезном, не было и тени обычной свиной напыщенности.

– Трудно, трудно, – сказал он. – Чертовски трудно перескочить. Я вас понимаю и даже более или менее согласен с вами – был бы согласен, если бы годился по возрасту в поэты-провидцы. Все верно, что вы говорите, – за исключением слов «Ноттинг-Хилл». При этих словах, как это ни грустно, ветхий Адам с хохотом пробуждается и шутя разделяется с новым Адамом по имени Уэйн.

Впервые за весь разговор лорд-мэр смолчал: он стоял, задумчиво понурившись. Сумерки сгущались, в палате становилось все темнее.

– Я знаю, – сказал он каким-то странным, полусонным голосом, – есть своя правда и в ваших словах. Трудно не смеяться над будничными названиями – я просто говорю, что смеяться не надо. Я придумал, как быть, но от этих мыслей мне самому жутко.

– От каких мыслей? – спросил Оберон.

Лорд-мэр Ноттинг-Хилла словно бы впал в некий транс; глаза его зажглись призрачным огнем.

– Есть колдовской жезл, но он мало кому по руке, да и применять его можно лишь изредка. Это могучее и опасное волшебство, особенно опасное для того, кто осмелится пустить его в ход. Но то, что тронута этим жезлом, никогда более не станет по-прежнему обыденным; то, что им тронута, озаряется потусторонним отблеском. Стоит мне коснуться этим волшебным жезлом трамвайных рельс и улиц Ноттинг-Хилла – и они станут навечно

любимы и сделаются навсегда страшны.

– Что вы такое несете? – спросил король.

– Бывало, от его прикосновения безвестные местности обретали величие, а хижины становились долговечней соборов, – Продолжал декламировать полоумный. – Так и фонарные столбы станут прекраснее греческих лампад, а омнибусы – красочнее древних кораблей. Да, касанье этого жезла дарит таинственное совершенство.

– Что еще за жезл? – нетерпеливо прервал его король.

– Вон он, – отозвался Уэйн, – указывая на сверкающий меч у подножия трона.

– Меч! – воскликнул король, резко выпрямившись.

– Да, да, – осипшим голосом подтвердил Уэйн. – Его касанье преображает и обновляет; его касанье...

Король Оберон всплеснул руками.

– Пролить из-за этого кровь! – воскликнул он. – Из-за вздорной разницы во взглядах...

– О вы, владыки земные! – не сдержал негодования Адам. – Какие же вы милосердные, кроткие, рассудительные! Вы затеваете войны из-за пограничных споров и из-за таможенных пошлин; вы проливаете кровь из-за налога на кружева или из-за невозданных адмиралу почестей. Но как дело доходит до главного, до того, что красит или обесценивает самую жизнь, – тут у вас пробуждается милосердие! А я говорю и отвечаю за свои слова: единственно необходимые войны – это войны религиозные. Единственно справедливые войны – религиозные. И единственно человеческие – тоже. Ибо в этих войнах бьются – или думают, что бьются за человеческое счастье, за человеческое достоинство. Крестonosец, по крайней мере, думал, что ислам губит душу всякого человека, будь то король или жестянщик, которого подчиняет своей власти. А я думаю, что Бак и Баркер и подобные им богатеи-кровососы губят душу всякого человека, оскверняют каждую пядь земли и каждый камень дома – словом, все и вся, им подвластное. И вы думаете, что у меня нет права драться за Ноттинг-Хилл, – это вы-то, глава английского государства, которое только и делало, что воевало из-за пустяков! Если поверить вашим богатым друзьям, будто ни Бога, ни богов нет, будто над нами пустые небеса, так за что же тогда драться, как не за то место на земле, где человек сперва побывал в Эдеме детства, а потом – совсем недолго – в райских кущах первой любви? Если нет более ни храмов, ни Священного писания, то что же и свято, кроме собственной юности?

Король расхаживал по помосту возле трона.

– И все-таки вряд ли, – сказал он, кусая губы, – вряд ли оправдано такое безрассудство – вряд ли можно взять на себя ответственность за...

В это время приотворились двери приемной и снаружи донесся, точно внезапный птичий крик, высокий, гнусавый и хорошо поставленный голос Баркера:

– Я ему сказал напрямик – соблюдать общественные интересы...

Оберон быстро повернулся к Уэйну.

– Что за дьявольщина! Что я болтаю? Что вы мелете? Может, вы меня околдовали? Ох, уж эти мне ваши голубые глазищи! Оставьте меня в покое. Верните мне чувство юмора. Верните его мне – верните немедленно, слышите!

– Я торжественно заверяю вас, – смутившись и как бы ощупывая себя, проговорил Уэйн, – что у меня его нет.

Король плюхнулся на трон и закатился гомерическим хохотом.

– Вот уж в этом я более чем уверен! – воскликнул он.

## Книга третья

### Глава I

### ДУШЕВНЫЙ СКЛАД АДАМА УЭЙНА

Через некоторое время после восшествия короля на престол был опубликован небольшой стихотворный сборник под названием «Горние песнопения». Стихи были не слишком хороши, книга успеха не имела, но привлекла внимание одной критической школы. Сам король, видный ее представитель, откликнулся – естественно, под псевдонимом – на появление сборничка в спортивном журнале «Прямиком с манежа». Вообще-то школу эту называли «Прямиком из гамака», ибо какой-то недруг ехидно подсчитал, что не менее тринадцати образчиков их изящной критической прозы начинались словами: «Я прочел эту книгу в гамаке: дремотно пригревало солнце, и я, в зыбкой дреме...» – правда, в остальном рецензии существенно различались. Из гамака критикам нравилось все, в особенности же все дурацкое. «Разумеется, лучше всего, когда книга подлинно хороша, – говорили они, – но этого, увы! не бывает, и стало быть, желательнее, чтоб она была по-настоящему плоха». Поэтому за их похвалой – то бишь свидетельством, что книга по-настоящему плоха, – не очень-то гнались, и авторам, на которых обращали благосклонное внимание критики «Из гамака», становилось немного не по себе.

Но «Горние песнопения» и правда были особь статья: там воспевались красоты Лондона в пику красотам природы. Такие чувства, а вернее, пристрастия в двадцатом столетии, конечно, не редкость, и хотя чувства эти порой преувеличивались, а нередко и подделывались, но питала их бесспорная истина: ведь город действительно поэтичнее, нежели лоно природы в том смысле, что он ближе человеку по духу, – тот же Лондон если и не великий шедевр человека, то уж во всяком случае немалое человеческое прегрешение. Улица и вправду поэтичнее, чем лесная лужайка, потому что улица таинственна. Она хоть куда-нибудь да ведет, а лужайка не ведет никуда. Но «Горние песнопения» имели дополнительную особенность, которую король весьма проницательно подметил в своей рецензии. Он тут был лицо заинтересованное: он и сам недавно опубликовал сборник стихов о Лондоне под псевдонимом «Маргарита Млей».

Коренная разница между этими разновидностями городской лирики, как указывал король, состояла в том, что украшатели вроде Маргариты Млей (к чьему изысканному слогу король-рецензент за подписью Громобой был, пожалуй, чересчур придирчив) воспевают Лондон, точно творение природы, то есть в образах, заимствованных с ее лона – и напротив того, мужественный автор «Горних песнопений» воспекает явления природы в образах города, на городском фоне.

«Возьмите, – предлагал критик, – типично женские строки стихотворения „К изобретателю пролетки“:

Раковину поэт изваял мастерством своим,  
Где отнюдь не тесно двоим

«Само собой разумеется, – писал король, – что только женщина могла сочинить эти строки. У женщин вообще слабость к природе; искусство имеет для них прелесть лишь как ее эхо или бледная тень. Казалось бы, теоретически и тематически она восхваляет пролетку, но в душе-то она – все еще дитя, собирающее ракушки на берегу моря. Она не может, подобно мужчине, сделаться, так сказать, городским завсегдатаем: не сам ли язык, заодно с приличиями, подсказывает нам выражение „завсегдатай злчных мест“? Кто когда-нибудь слышал о „завсегдатайщице“? Но даже если женщина принорвится к городским злчным местам, образцом для нее все равно остается природа: она ее носит с собой во всех видах. На голове у нее колышутся как бы травы; пушные звери тянут оскаленные пасти к ее горлу. Посреди тусклого города она нахлобучивает на голову не столько шляпку, сколько коттедж с цветником. У нас больше чувства гражданской ответственности, чем у нее. Мы носим на голове подобие фабричной трубы, эмблему цивилизации. Без птиц ей никак нельзя, и по ее капризу пернатых убивают десятками – и голова ее изображает дерево, утыканное символическими подобьями мертвых певуний».

В том же роде он упражнялся еще страницу-другую; затем король-критик вспоминал, о чем, собственно, идет речь, и снова цитировал:

Раковину поэт изваял мастерством своим,  
Где отнюдь не тесно двоим

«Специфика этих изящных, хоть и несколько изнеженных строк,— продолжал Громобой,— как мы уже сказали, в том, что они воспевают пролетку, сравнивая ее с раковиной, с изделием природы. Посмотрим же, как подходит к той же теме автор „Горних песнопений“. В его прекрасном ноктюрне, названном „Последний омнибус“, настроение тяжелой и безысходной грусти разрешается наконец мощным стиховым броском:

И ветер взметнулся из-за угла,  
Точно вылетел быстрый кеб

«Вот где разница особенно очевидна. Маргарита Млей полагает, будто для пролетки сравнение с изящной морской завитушкой куда как лестно. Автор же „Горних песнопений“ считает лестным для предвечного вихря сравнение с извозчичьим кебом. Он не устает восхищаться Лондоном. За недостатком места мы не можем сыпать дальнейшими превосходными примерами, подобными вышеприведенному, и не станем разбирать, например, стихотворение, в котором женские глаза уподобляются не путеводным звездам, нет — а двум ярким уличным фонарям, озаряющим путь скитальца. Не станем также говорить об отменных стансах, елизаветинских по духу, где поэт, однако, не пишет, что на лице возлюбленной розы соревновали лилеям — нет, в современном и более строгом духе он описывает ее лицо совсем иначе: на нем соревнуются красный хаммерсмитский и белый фулемский омнибусы. Великолепен этот образ двух омнибусов-соперников!»

На этом статья довольно неожиданно заканчивалась: должно быть, королю понадобились деньги и он срочно отослал ее в редакцию. Но каким бы он ни был монархом, критиком он был Отличным, и угодил, можно сказать, в самую точку. «Горние песнопения» ничуть не походили ни на какие прежние восхваления Лондона, потому что автор их действительно ничего, кроме Лондона, в жизни не видел, так что Лондон казался ему вселенной. Написал их зеленый, рыжеволосый юнец семнадцати лет от роду по имени Адам Уэйн, уроженец Ноттинг-Хилла. Случилось так, что в семь лет его не взяли, как собирались, на море, и больше он из Лондона не выезжал: жил себе да жил в своем Насосном переулке, навеваясь в окрестные улочки.

Вот он и не отличал уличных фонарей от звезд небесных; для него их свет смешался. Дома казались ему незыблемыми вроде гор: он и писал о них, как другой будет писать о горах. Всякий видит природу в своем обличье; пред ним она предстала в обличье Ноттинг-Хилла. Для поэта — уроженца графства Камберленд — природа — это бурливое море и прибрежные рифы. Для поэта, рожденного среди Эссекских равнин, природа — сверканье тихих вод и сияние закатов. А Уэйну природа виделась лиловыми скатами крыш и вереницей лимонно-желтых фонарей — городской светотенью. Воспевая тени и цвета города, он не стремился быть ни остроумным, ни забавным: он просто не знал других Цветов и теней, вот и воспевал эти — надо же поэту воспевать хоть какие-то. А он был поэтом, хоть и плохим. Слишком часто забывают, что как дурной человек — все же человек, так и плохой поэт — все же поэт.

Томик стихов мистера Уэйна не имел ни малейшего успеха; и он, со смиренным благоразумием покорившись приговору судьбы, продолжал служить приказчиком в магазине тканей, а стихи писать бросил. Чувство свое к Ноттинг-Хиллу он, конечно, сохранил, потому что это было главное чувство его жизни, краеугольный камень бытия. Но больше он не пробовал ни выражать это чувство, ни вылезать с ним.

Он был мистик по природе своей, из тех, кто живет на границе сказки: и может стать,

он первый заметил, как часто эта граница проходит посреди многолюдного города. В двадцати футах от него (он был очень близорук) красные, белые и желтые лучи газовых фонарей сплетались и сливались, образуя огневеющую окраину волшебного леса.

Но, как это ни странно, именно поэтическая неудача вознесла его на вершину небывалого торжества. Он не пробился в литературу – и поэтому стал явлением английской истории. Его томила тщетная жажда художественного самовыражения: он был немым поэтом с колыбели и остался бы таковым до могилы, и унес бы в загробный мрак сокрытую в его душе новую и неслыханную песню – но он родился под счастливой звездой, и ему выпала сказочная удача. Волею судеб он стал лорд-мэром жалкого райончика в самый разгар королевских затей, когда всем районам и райончикам велено было украситься цветами и знаменами. Единственный из процессии безмолвных поэтов, шествующей от начала дней, он вдруг, точно по волшебству, оказался в своей поэтической сфере и смог говорить, действовать и жить по наитию. И сам царственный шутник, и его жертвы полагали, что заняты дурацким розыгрышем; лишь один человек принял его всерьез и сделался всемогущим художником. Доспехи, музыка, штандарты, сигнальные костры, барабанный бой – весь театральный реквизит был к его услугам. Несчастный рифмоплет, спаливши свои опусы, вышел на подмости и принялся разыгрывать свои поэтические фантазии – а ведь об этом вотще мечтали все поэты, сколько их ни было, мечтали о такой жизни, перед которой сама «Илиада» – всего-навсего дешевый подлог.

Детские мечтания исподволь выпестовали в нем способность или склонность, в современных больших городах почти целиком напускную, по существу же весьма естественную, а для него едва ли не физиологическую – способность или склонность к патриотизму. Она существует, как и прочие пороки и добродетели, в некоей сгущенной реальности, и ее ни с чем не спутаешь. Ребенок, восторженно разглагольствующий о своей стране или своей деревне, может привирать, подобно Мандевиллю<sup>40</sup>, или врать напропалую, как барон Мюнхгаузен, но его болтовня будет внутренне столь же неложной, как хорошая песня. Еще мальчишкой Адам Уэйн проникся к убогим улочкам Ноттинг-Хилла тем же древним благоговением, каким были проникнуты жители Афин или Иерусалима. Он изведal тайну этого чувства, тайну, из-за которой так странно звучат на наш слух старинные народные песни. Он знал, что истинного патриотизма куда больше в скорбных и заунывных песнях, чем в победных маршах. Он знал, что половина обаяния народных исторических песен – в именах собственных. И знал, наконец, главнейшую психическую особенность патриотизма, такую же непремennую, как стыдливость, отличающую всех влюбленных: знал, что патриот никогда, ни при каких обстоятельствах не хвастает огромностью своей страны, но ни за что не упустит случая похвастать тем, какая она маленькая.

Все это он знал не потому, что был философом или гением, а потому, что оставался ребенком. Пройдите по любому закоулку вроде Насосного – увидите там маленького Адама, властелина торца мостовой: он тем горделивее, чем меньше этот торец, а лучше всего – если на нем еле-еле умещаются две ступни.

И вот, когда он однажды собрался, не щадя живота, защищать то ли кусок тротуара, то ли неприступную твердыню крыльца, он встретил короля: тот бросил несколько насмешливых фраз – и навсегда определил границы его души. С тех пор он только и помышлял о защите Ноттинг-Хилла в смертельном бою: помышлял так же привычно, как едят, пьют или раскуривают трубку. Впрочем, ради этого он забывал о еде, менял свои планы, просыпался среди ночи и все передумывал заново. Две-три лавчонки служили ему арсеналом; приямок превращался в крепостной ров; на углах балконов и на выступах крылец размещались мушкетеры и лучники. Почти невозможно представить себе, если не поднапрячься, как густо покрыл он свинцовый Лондон романтической позолотой. Началось

---

<sup>40</sup> *Может привирать, подобно Мандевиллю.* – Мандевиль Бернард (1670-1733), английский мыслитель и сатирик, автор басни о пчелах, в которой утверждает, что эгоизм и жадность создают экономический прогресс.

это с ним чуть ли не во младенчестве, и со временем стало чем-то вроде обыденного безумия. Оно было всевластно по ночам, когда Лондон больше всего похож на себя; когда городские огни мерцают во тьме, как глаза бесчисленных кошек, а в упрощенных очертаниях черных домов видятся контуры синих гор. Но от него-то ночь ничего не прятала, ему она все открывала, и в бледные утренние и дневные часы он жил, если можно так выразиться, при свете ночной темноты. Отыскался человек, с которым случилось немыслимое: мнимый город стал для него обычным, бордюрные камни и газовые фонари сравнялись древностию с небесами.

Хватит и одного примера. Прогуливаясь с другом по Насосному переулку, он сказал, мечтательно глядя на чугунную ограду палисадника:

– Как закипает кровь при виде этой изгороди!

Его друг и превеликий почитатель мучительно вглядывался в изгородь, но ничего такого не испытывал. Его это столь озадачило, что он раз за разом приходил под вечер поглядеть на изгородь: не закипит ли кровь и у него, но кровь не закипала.

Наконец он не выдержал и спросил у Уэйна, в чем тут дело. Оказалось, что он хоть и приходил к изгороди целых шесть раз, но главного-то и не заметил: что чугунные прутья ограды венчают острия, подобные жалам копий – как, впрочем, почти везде в Лондоне. Ребенком Уэйн полусознанно уподобил их копьям на картинках с Ланселотом или святым Георгием, и ощущение этого зрительного подобья не покинуло его, так что когда он смотрел на эти прутья, то видел строй копьеносцев, стальную оборону священных жилищ Ноттинг-Хилла. Подобье это прочно, неизгладимо запечатлелось в его душе: это была вовсе не прихоть фантазии. Неверно было бы сказать, что знакомая изгородь напоминает ему строй копий; вернее – что знакомый строй копий иногда представлялся ему изгородью.

Через день-другой после королевской аудиенции Адам Уэйн расхаживал, точно лев в клетке, перед пятью домиками в верхнем конце пресловутого переулка: бакалея, аптека, цирюльня, лавка древностей и магазин игрушек, где также продавались газеты. Эти пять строений он придирчиво облюбовал еще в детстве как средоточие обороны Ноттинг-Хилла, городскую крепость. Ноттинг-Хилл – сердце вселенной, Насосный переулок – сердце Ноттинг-Хилла, а здесь билось сердце Насосного переулка. Строеньица жались друг к другу, и это было хорошо, это отвечало стремлению к уютной тесноте, которое, как водится и как мы уж говорили, было сердцевиной уэйновского патриотизма. Бакалейщик (он к тому же торговал по лицензии вином и крепкими напитками) был нужен как интендант; мечами, пистолетами, протазанами, арбалетами и пищалями из лавки древностей можно было вооружить целое ополчение; игрушечный магазин, он же газетный киоск, нужен затем, что без свободной печати духовная жизнь Насосного переулка заглохнет; аптекарю надлежало гасить вспышки эпидемии среди осажденных, а цирюльник попал в эту компанию оттого, что цирюльня была посредине и потому, что сын цирюльника был близким другом и единомышленником Уэйна.

Лиловые тени и серебряные отблески ясного октябрьского вечера ложились на крыши и трубы крутого переулка, темного, угрюмого и как бы настороженного. В густеющих сумерках пять витрин, точно пять разноцветных костров, лучились газовым светом, а перед ними, как беспокойная тень среди огней чистилища, металась черная нескладная фигура с орлиным носом.

Адам Уэйн размахивал тростью и, по-видимому, горячо спорил сам с собой.

– Вера, – говорил он, – сама по себе всех загадок не разрешает. Положим, истинная философия ясна до последней точки; однако же остается место сомнениям. Вот, например, что первостепеннее: обычные ли человеческие нужды, обычное состояние человека или пламенное душевное устремление к неверной и ненадежной славе? Что предпочтительнее – мирное ли здравомыслие или полубезумная воинская доблесть? Кого мы предпочтем – героя ли повседневности или героя години бедствий? А если вернуться к исходной загадке, то кто первый на очереди – бакалейщик или аптекарь? Кто из них твердыня нашего града – быстрый ли рыцарственный аптекарь или щедрый благодетельный бакалейщик? Когда дух

мятется в сомнениях, надобно ли довериться высшей интуиции и смело идти вперед? Ну что ж, я сделал выбор. Да простится мне, если я неправ, но я выбираю бакалейщика.

– Добрый вечер, сэр, – сказал бакалейщик, человек в летах, изрядно облысевший, с жесткими рыжими баками и бородой, с морщинистым лбом, изборожденным заботами мелкого торговца. – Чем могу быть полезен, сэр?

Входя в лавочку, Уэйн церемонным жестом снял шляпу; в жесте этом не было почти ничего особенного, но торговца он несколько изумил.

– Я пришел, сэр, – отчеканил он, – дабы воззвать к вашему патриотизму.

– Вот так так, сэр, – сказал бакалейщик, – это прямо как в детстве, когда у нас еще бывали выборы.

– Выборы еще будут, – твердо сказал Уэйн, – да и не только выборы. Послушайте меня, мистер Мид. Я знаю, как бакалейщика невольно тянет к космополитизму. Я могу себе представить, каково это – сидеть целый день среди товаров со всех концов земли, из-за неведомых морей, по которым мы никогда не плавали, из неведомых лесов, которые и вообразить невозможно. Ни к одному восточному владыке не спешило столько тяжелогруженных кораблей из закатных и полуденных краев, и царь Соломон во всей славе своей был беднее ваших собратий. Индия – у вашего локтя, – заявил он, повышая голос и указывая тростью на ящик с рисом, причем бакалейщик слегка отшатнулся, – Китай перед вами, позади вас – Демерара, Америка у вас над головой, и в этот миг вы, словно некий испанский адмирал дней былых, держите в руках Тунис.

Мистер Мид обронил коробку фиников и снова растерянно поднял ее.

Уэйн, покрасневшись, продолжал, но уже потише.

– Я знаю, сказал я, сколь искусительно зрелище этих всесветных, кругосветных богатств. Я знаю – вам, в отличие от многих других торговцев, не грозит вялость и затхлость, не грозит узость кругозора; напротив, есть опасность, что вы будете излишне широки, слишком открыты, чересчур терпимы. И если пирожнику надо остерегаться узкого национализма – ведь свои изделия он печет под небом родной страны, то бакалейщик да остережется космополитизма. Но я пришел к вам во имя того негасимого чувства, которое обязано выдержать соблазны всех странствий, искусства всех впечатлений – я призываю вас вспомнить о Ноттинг-Хилле! Отвлечемся от этой пышности, от этого вселенского великолепия и вспомним – ведь и Ноттинг-Хилл сыграл здесь не последнюю роль. Пусть финики ваши сорваны с высоких берберских пальм, пусть сахар прибыл с незнакомых тропических островов, а чай – с тайных плантаций Поднебесной Империи. Чтобы обставить ваш торговый зал, вырубались леса под знаком Южного Креста, гарпунили левиафанов при свете Полярной звезды. Но вы-то – не последнее из сокровищ этой волшебной пещеры, – вы-то сами, мудрый правитель этих безграничных владений, – вы же выросли, окрепли и умудрились здесь, меж нашими серенькими домишками, под нашим дождливым небом. И вот – граду, взрастившему вас и тем сопричастному вашему несметному достоянию, – этому граду угрожают войной. Смелее же – выступите вперед и скажите громовым голосом: пусть ворванью дарит нас Север, а фруктами – Юг; пусть рис наш – из Индии, а пряности – с Цейлона; пусть овцы – из Новой Зеландии, но мужи – из Ноттинг-Хилла!

Бакалейщик сидел, разинув рот и округлив глаза, похожий на большую рыбину. Потом он почесал в затылке и промолчал. Потом спросил:

– Желаете что-нибудь купить, сэр?

Уэйн окинул лавочку смутным взором. На глаза ему попала пирамида из ананасных консервов, и он махнул в ее сторону тростью.

– Да, – сказал он, – заверните вот эти.

– Все банки, сэр? – осведомился бакалейщик уже с неподдельным интересом.

– Да, да; все эти банки, – отвечал Уэйн, слегка ошеломленный, словно после холодного душа.

– Отлично, сэр; благодарим за покупку, – воодушевился бакалейщик. – Можете рассчитывать на мой патриотизм, сэр.

– Я и так на него рассчитываю, – сказал Уэйн и вышел в темноту, уже почти ночную.

Бакалейщик поставил на место коробку с финиками.

– А что, отличный малый! – сказал он. – Да и все они, ей-богу, отличный народ, не то, что мы – хоть и нормальные, а толку?

Тем временем Адам Уэйн стоял в сиянии аптечной витрины и явственно колебался.

– Никак не совладаю с собой, – пробормотал он. – С самого детства не могу избавиться от страха перед этим волшебством. Бакалейщик – он да, он богач, он романтик, он истинный поэт, но – нет, он весь от мира сего. Зато аптекарь! Прочие дома накрепко стоят в Ноттинг-Хилле, а этот выплывает из царства эльфов. Страшно даже взглянуть на эти огромные разноцветные колбы. Не на них ли глядя, Бог расцвечивает закаты? Да, это сверхчеловеческое, а сверхчеловеческое тем страшнее, чем благотворнее. Отсюда и страх Божий. Да, я боюсь. Но я соберусь с духом и войду.

Он собрался с духом и вошел. Низенький, чернявый молодой человек в очках стоял за конторкой и приветствовал клиента лучезарной, но вполне деловой улыбкой.

– Прекрасный вечер, сэр, – сказал он.

– Поистине прекрасный, о отец чудес, – отозвался Адам, опасливо простерши к нему руки. – В такие-то ясные, тихие вечера ваше заведение и являет себя миру во всей своей красе. Круглее обычного кажутся ваши зеленые, золотые и темно-красные луны, издали притягивающие паломников болести и хвори к чертогам милосердного волшебства.

– Чего изволите? – спросил аптекарь.

– Сейчас, минуточку, – сказал Уэйн, дружелюбно и неопределенно. – Знаете, дайте мне нюхательной соли.

– Вам какой флакон – восемь пенсов, десять или шиллинг шесть пенсов?

– ласково поинтересовался молодой человек.

– Шиллинг шесть, шиллинг шесть, – отвечал Уэйн с диковатой угодливостью. – Я пришел, мистер Баулз, затем, чтобы задать вам страшный вопрос.

Он помедлил и снова собрался с духом.

– Главное, – бормотал он, – главное – чутье, надо ко всем искать верный подход.

– Я пришел, – заявил он вслух, – задать вам вопрос, коренной вопрос, от решения которого зависит судьба вашего чародейного ремесла. Мистер Баулз, неужели же колдовство это попросту сгинет? – и он повел кругом тростью.

Ответа не последовало, и он с жаром продолжал:

– Мы у себя в Ноттинг-Хилле полною мерой извели вашу чудодейственную силу. Но теперь и самый Ноттинг-Хилл под угрозой.

– Еще чего бы вы хотели, сэр? – осведомился аптекарь.

– Ну, – сказал Уэйн, немного растерявшись, – ну что там продают в аптеках? Ах да, хинин. Вот-вот, спасибо. Да, так что же, суждено ли ему сгинуть? Я видел наших врагов из Бейзуотера и Северного Кенсингтона, мистер Баулз, они отпетые материалисты. Ничто для них ваша магия, и в своих краях они тоже ее в грош не ставят. Они думают, аптекарь – это так, пустяки. Они думают, что аптекарь – человек как человек.

Аптекарь немного помолчал – видимо, трудно было снести непереносимое оскорбление, – и затем поспешно проговорил:

– Что еще прикажете?

– Квасцы, – бросил лорд-мэр. – Итак, лишь в пределах нашего священного града чтут ваше дивное призвание. И, сражаясь за нашу землю, вы сражаетесь не только за себя, но и за все то, что вы воплощаете. Вы бьетесь не только за Ноттинг-Хилл, но и за таинственный сказочный край, ибо если возобладают Бак, Баркер и им подобные золотопоклонники, то, как ни странно, поблекнет и волшебное царство сказок.

– Еще что-нибудь, сэр? – спросил мистер Баулз, сохраняя внешнюю веселость.

– Да, да, таблетки от кашля – касторку – магнезию. Опасность надвинулась вплотную. И я все время чувствовал, что отстаиваю не один лишь свой родной город (хотя за него я готов пролить кровь до капли), но и за все те края, которые ждут не дождутся торжества



наших идеалов. Не один Ноттинг-Хилл мне дорог, но также и Бейзуотер, также и Северный Кенсингтон. Ведь если верх возьмут эти денежные тузы, то они повсюду опоганят исконные благородные чувства и тайны народной души. Я знаю, что могу рассчитывать на вас.

– Разумеется, сэр,– горячо подтвердил аптекарь,– мы всегда стараемся удовлетворить покупателя.

Адам Уэйн вышел из аптеки с отрадным чувством исполненного долга.

– Как это замечательно,– сказал он сам себе,– что у меня есть чутье, что я сумел сыграть на их чувствительных струнах, задеть за живое и космополита-бакалейщика, и некроманта-аптекаря с его древним, как мир, загадочным ремеслом. Да, где бы я был без чутья?

## Глава II МИСТЕР ТЕРНБУЛЛ, ЧУДОДЕЙ

Две дальнейшие беседы несколько подточили уверенность патриота в своей психологической дипломатии. Хоть он и подходил с разбором, уясняя сущность и своеобразие каждого занятия, однако собеседники его были как-то неотзывчивы. Скорее всего, это было глухое негодование против профана, с улицы вторгшегося в святая святых их профессий, но в точности не скажешь.

Разговор с хозяином лавки древностей начался многообещающе. Хозяин лавки древностей, надо сказать, его прямо-таки очаровал. Он уныло стоял в дверях своей лавчонки – усохший человечек с седой бородкой клинышком: вероятно, джентльмен, который знал лучшие дни.

– И как же идет ваша торговля, о таинственный страж прошлого? – приветливо обратился к нему Уэйн.

– Да не сказать, чтоб очень бойко, сэр,– отвечал тот с присущей его сословию и надрывающей душу беспредельной готовностью к невзгодам.– Тихий ужас, прямо как в омуте.

Уэйн так и просиял.

– Речение, – сказал он, – достойное того, чей товар – история человечества. Да, именно тихий ужас: в двух словах выражен дух нашего времени, я чувствую его с колыбели. Бывало, я задумывался – неужели я один такой, а другим никому не в тягость этот тихий ужас, эта жуткая тишь да гладь? Смотрю и вижу аккуратные безжизненные улицы, а по ним проходят туда и сюда пасмурные, нелюдимые, наглухо застегнутые мужчины в черном. И так день за днем, день за днем все так же, и ничего не происходит, а у меня чувство такое, будто это сон, от которого просыпаешься с придушенным криком. По мне, так ровная прямизна нашей жизни – это прямизна туго натянутой бечевки. И тихо-тихо – до ужаса, даже в ушах звенит; а лопнет эта бечева – то-то грянет грохот! А уж вы-то, восседая среди останков великих войн, сидя, так сказать, на полях древних битв, вы, как никто, знаете, что даже и войны те были не ужаснее нынешнего тухлого мира; вы знаете, что бездельники, носившие эти шпаги при Франциске или Елизавете<sup>41</sup>, что какой-нибудь неотесанный сквайр или барон, махавший этой булавой в Пикардии или в Нортумберленде,– что они были, может, и ужасно шумный народ, но не нам чета – тихим до ужаса.

Страж прошлого, казалось, огорчился: то ли упомянутые образчики оружия были не такие старинные и в Пикардии или Нортумберленде<sup>42</sup> ими не махали, то ли ему было

---

<sup>41</sup> *При Франциске или Елизавете.* – То есть либо в первой, либо во второй половине XVI в. при французском короле Франциске I (1494-1547), правившем с 1515 г., или при английской королеве Елизавете I (1537-1603), правившей с 1558 г.

<sup>42</sup> *В Пикардии или в Нортумберленде.* – Пикардия – округ на севере Франции; Нортумберленд – графство на севере Англии.

огорчительно все на свете, но вид у него стал еще несчастнее и озабоченнее.

– И все же я не думаю,– продолжал Уэйн,– что эта жуткая современная тишь так и пребудет тишью, хотя гнет ее, наверно, усилится. Ну что за издевательство этот новейший либерализм! Свобода слова нынче означает, что мы, цивилизованные люди, вольны молоть любую чепуху, лишь бы не касались ничего важного. О религии помалкивай, а то выйдет нелиберально; о хлебе насущном – нельзя, это, видите ли, своекорыстно; не принято говорить о смерти – это действует на нервы; о рождении тоже не надо – это неприлично. Так продолжаться не может. Должен же быть конец этому немому безразличию, этому немому и сонному эгоизму, немоте и одиночеству миллионов, превращенных в безгласную толпу. Сломается такой порядок вещей. Так, может, мы с вами его и ломаем? Неужто вы только на то и годны, чтоб стеречь реликвии прошлого?

Наконец-то лицо лавочника чуть-чуть прояснилось, и те, кто косо смотрит на хоругвь Красного Льва, пусть их думают, будто он понял одну последнюю фразу.

– Да староват я уже заводить новое дело,– сказал он,– опять же и непонятно, куда податься.

– А не податься ли вам,– сказал Уэйн, тонко подготовивший заключительный ход,– в полковники?

Кажется, именно тут разговор сперва застопорился, а потом постепенно потерял всякий смысл. Лавочник решительно не пожелал обсуждать предложение податься в полковники: это предложение якобы не шло к делу. Пришлось долго разяснять ему, что война за независимость неизбежна, и приобрести втридорога сомнительную шпагу шестнадцатого века – тогда все более или менее уладилось. Но Уэйн покинул лавку древностей, как бы заразившись неизбывной скорбью ее владельца.

Скорбь эта усугубилась в цирюльне.

– Будем бриться, сэр? – еще издали осведомился мастер помазка.

– Война! – отвечивал Уэйн, став на пороге.

– Это вы о чем? – сурово спросил тот.

– Война! – задушевно повторил Уэйн. – Но не подумайте, война вовсе не наперекор вашему изящному и тонкому ремеслу. Нет, война за красоту. Война за общественные идеалы. Война за мир. А какой случай для вас опровергнуть клеветников, которые, оскорбляя память ваших собратий-художников, приписывают малодушие тем, кто холит и облагораживает нашу внешность! Да чем же парикмахеры не герои? Почему бы им не...

– Вы вот что, а ну-ка проваливайте отсюда! – гневно сказал цирюльник. – Знаем мы вашего брата. Проваливайте, говорю!

И он устремился к нему с неистовым раздражением добряка, которого вывели из себя.

Адам Уэйн положил было руку на эфес шпаги, но вовремя опомнился и убрал руку с эфеса.

– Ноттинг-Хиллу,– сказал он,– нужны будут сыны поотважнее,– и угрюмо направился к магазину игрушек.

Это была одна из тех чудных лавчонок, которыми изобилуют лондонские закоулки и которые называются игрушечными магазинами лишь потому, что игрушек там уйма; а кроме того, имеется почти все, что душе угодно: табак, тетрадки, сласти, чтиво, полупенсовые скрепки и полупенсовые точилки, шнурки и бенгальские огни. А тут еще и газетами приторговывали, и грязноватые газетные щиты были развешаны у входа.

– Сдается мне,– сказал Уэйн, входя,– что не нахожу я общего языка с нашими торговцами. Наверно, я упускаю из виду самое главное в их профессиях. Может статься, в каждом деле есть своя заветная тайна, которая не по зубам поэту?

Он понуро двинулся к прилавку, однако, подойдя, поборол уныние и сказал низенькому человечку с ранней сединой, похожему на очень крупного младенца:

– Сэр,– сказал Уэйн,– я хожу по нашей улице из дома в дом и тщетно пытаюсь

пробудить в земляках сознание опасности, которая нависла над нашим городом. Но с вами мне будет труднее, чем с кем бы то ни было. Ведь хозяин игрушечного магазина – обладатель всего того, что осталось нам от Эдема, от времен, когда род людской еще не ведал войн. Сидя среди своих товаров, вы непрестанно размышляете о сказочном прошлом: тогда каждая лестница вела к звездам, а каждая тропка – в тридцатое царство. И вы, конечно, подумаете: какое это безрассудство – тревожить барабанным треском детский рай! Но погодите немного, не спешите меня осуждать. Даже в раю слышны глухие содроганья – предвестие грядущих бедствий: ведь и в том, предначальном Эдеме, обители совершенства, росло ужасное древо<sup>43</sup>. Судя о детстве, окиньте глазами вашу сокровищницу его забав. Вот у вас кубики – несомненное свидетельство, что строить начали раньше, нежели разрушать. Вот куклы – и вы как бы жрец этого божественного идолопоклонства. Вот Ноевы ковчеги – память о спасении живой твари, о невозместимости всякой жизни. Но разве у вас только и есть, сэр, что эти символы доисторического благоразумия, младенческого земного здравомыслия? А нет ли здесь более зловещих игрушек? Что это за коробки, уж не с оловянными ли солдатиками – вон там, в том прозрачном ящике? А это разве не свидетельство страшного и прекрасного стремления к героической смерти, вопреки блаженному бессмертию? Не презирайте оловянных солдатиков, мистер Тернбулл.

– Я и не презираю, – кратко, но очень веско отозвался мистер Тернбулл.

– Рад это слышать, – заметил Уэйн. – Признаюсь, я опасался говорить о войне с вами, чей удел – дивная безмятежность. Как, спрашивал я себя, как этот человек, привыкший к игрушечному перестуку деревянных мечей, помыслит о мечах стальных, вспарывающих плоть? Но отчасти вы меня успокоили. Судя по вашему тону, предо мною приоткрыты хотя бы одни врата вашего волшебного царства – те врата, в которые входят солдатика, ибо – не должно более таиться – я пришел к вам, сэр, говорить о солдатах настоящих. Да умилосердит вас ваше тихое занятие перед лицом наших жестоких горестей. И ваш серебряный покой да умиротворит наши кровавые невзгоды. Ибо война стоит на пороге Ноттинг-Хилла.

Низенький хозяин игрушечной лавки вдруг подскочил и всплеснул пухленькими ручонками, растопырив пальцы: словно два веера появились над прилавком.

– Война? – воскликнул он. – Нет, правда, сэр? Кроме шуток? Ох, ну и дела! Вот утешенье-то на старости лет!

Уэйн отшатнулся при этой вспышке восторга.

– Я... это замечательно, – бормотал он. – Я и подумать не смел...

Он посторонился как раз вовремя, а то бы мистер Тернбулл, одним прыжком перескочив прилавок, налетел на него.

– Гляньте, гляньте-ка, сэр, – сказал он. – Вы вот на что гляньте.

Он вернулся с двумя афишами, сорванными с газетных щитов.

– Вы только посмотрите, сэр, – сказал он, расстилая афиши на прилавке.

Уэйн склонился над прилавком и прочел:

**ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ.  
ВЗЯТИЕ ГЛАВНОГО ОПЛОТА ДЕРВИШЕЙ.  
ПОТРЯСАЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ и проч.**

И на другой афише:

**ГИБЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ МАЛЕНЬКОЙ РЕСПУБЛИКИ.**

---

<sup>43</sup> *Росло ужасное древо.* – Речь идет о древе познания, с которым связаны многочисленные бедствия обитателей райского сада. Быт., 2, 17.

## СТОЛИЦА НИКАРАГУА СДАЛАСЬ ПОСЛЕ ТРИДЦАТИДНЕВНЫХ БОЕВ. КРОВАВОЕ ПОБОИЩЕ.

В некоторой растерянности Уэйн перечел афиши, потом поглядел на даты. И та, и другая датирована была августом пятнадцатилетней давности.

– А зачем вам это старье? – спросил он, уж и не думая о тактичном подходе и о мистических призваниях. – Зачем вы это вывесили перед магазином?

– Да затем, – напрямик отвечал тот, – что это последние военные новости. Вы только что сказали «война», а война – мой конек.

Уэйн поднял на него взгляд, и в его огромных голубых глазах было детское изумление.

– Пойдемте, – коротко предложил Тернбулл и провел его в заднее помещение магазина.

Посреди комнаты стоял большой сосновый стол, а на нем – масса оловянных солдатиков. Магазин торговал ими, и удивляться вроде бы не приходилось, однако заметно было, что солдатики не сгрудились так себе, а расставлены строями – не напоказ и не случайно.

– Вам, разумеется, известно, – сказал Тернбулл, выпучив на Уэйна свои лягушачьи глаза, – известно, разумеется, расположение американских и никарагуанских войск перед последней битвой, – и он указал на стол.

– Боюсь, что нет, – сказал Уэйн. – Видите ли, я...

– Понятно, понятно! Должно быть, вас тогда больше интересовало подавление восстаний дервишей. Ну, это там, в том углу, – и он показал на пол, где опять-таки были расставлены солдатики.

– По-видимому, – сказал Уэйн, – вас очень интересуют дела военные.

– Меня не интересуют никакие другие, – бесхитростно отвечал хозяин магазина игрушек.

Уэйн постарался подавить охватившее его бурное волнение.

– В таком случае, – сказал он, – я рискну довериться вам целиком. Я полагаю, что оборона Ноттинг-Хилла...

– Оборона Ноттинг-Хилла? Прошу вас, сэр. Вон туда, сэр, – сказал Тернбулл, прямо-таки заплясав на месте, – вон в ту боковую комнатку. – И он подвел Уэйна к столу, застроенному кубиками. Уэйн присмотрелся и увидел перед собой четкий и точный макет Ноттинг-Хилла.

– Сэр, – внушительно промолвил Тернбулл, – вы совершенно случайно открыли секрет всей моей жизни. Последние войны – в Никарагуа и на Востоке – разразились, когда я был мальчишкой, и я увлекся военным делом, сэр, как, бывает, увлекаются астрономией или набивкой чучел. Воевать-то я ни с кем не собирался, война интересовала меня как наука, как игра. Но не тут-то было: великие державы всех позавоевывали и заключили, черт бы его драл, соглашение больше между собой не воевать. Вот мне только и осталось, что представлять себе войны по старым газетам и расставлять оловянных солдатиков. И вдруг меня осенило: а не сделать ли мне макет нашего района и не составить ли план его обороны<sup>44</sup> – вдруг да на нас нападут? Вам это, видать, тоже показалось любопытно?

– Вдруг да на нас нападут, – ошеломленный восторгом, механически повторил Уэйн. – Мистер Тернбулл, на нас напали. Слава Богу, наконец-то я приношу хоть одному человеку благую весть, да какую – вестей отрадней для сыновей Адама не бывает. Жизнь ваша – не бесполезна. Труд ваш – не забава. Время вашей юности, Тернбулл, настало теперь, когда вы уже поседели. Господь не лишил вас ее; Он ее лишь отложил. Давайте присядем, и вы объясните мне на макете ваш план обороны Ноттинг-Хилла. Ибо нам с вами предстоит защищать его.

Мистер Тернбулл с минуту глядел на нежданного гостя, разинув рот; потом оставил

---

<sup>44</sup> ...макет нашего района... и план его обороны. – В персонаже по имени Тернбулл нашли воплощение некоторые черты самого Честертона – любовь к игрушечным солдатикам и картам.

колебания и уселся рядом с ним возле макета. Они поднялись на ноги лишь через семь часов, на рассвете.

\* \* \*

Ставка лорд-мэра Адама Уэйна и его главнокомандующего разместилась в маленькой захудалой молочной на углу Насосного переулка. Белесое утро едва брезжило над белесыми лондонскими строениями, а Уэйн с Тернбуллом уже сидели в безлюдной и замызганной забегаловке. Уэйн имел отчасти женскую натуру: чем-нибудь поглощенный, он терял всякий аппетит. За последние шестнадцать часов он выпил наспех несколько стаканов молока; пустой стакан и теперь стоял у его локтя, а он с невероятной быстротой что-то писал, черкал и подсчитывал на клочке бумаге. У Тернбулла натура была мужская: его аппетит возрастал с возрастанием чувства ответственности; он отложил исчерченную карту и доставал из бумажного пакета бутерброд за бутербродом, запивая их элем, кружку которого только что принес из открывшегося поутру кабачка напротив. Оба молчали; слышалось лишь чирканье карандаша по бумаге да надрывное мяуканье приبلудного кота. Наконец Уэйн проговорил:

– Семнадцать фунтов восемь шиллингов девять пенсов. Тернбулл кивнул и запустил нос в кружку.

– Это не считая тех пяти фунтов, что вы вчера взяли, – добавил Уэйн. – Как вы ими распорядились?

– А, вот это не лишено интереса, – пробурчал Тернбулл с набитым ртом. – Те пять фунтов я израсходовал милосердно и человеколюбиво.

Уэйн вопросительно поглядел на пучеглазого и невозмутимого соратника.

– Те пять фунтов, – продолжал тот, – я разменял и раздал сорока – да, именно сорока уличным мальчишкам, чтобы они катались на извозчиках.

– Вы в своем уме? – спросил лорд-мэр.

– А что такого особенного, – возразил Тернбулл. – Эти поездки подымут тонус – большое дело тонус, дорогой мой! – нашей лондонской детворы, расширят их кругозор, укрепят их нервную систему, ознакомят с памятными местами нашей великой столицы. Воспитание, Уэйн, и еще раз воспитание! Многие замечательные мыслители указывали, что, пока нет культурного населения, нечего и затевать политические реформы. А вот через двадцать лет, когда эти мальчишки подрастут...

– Так и есть, спятил, – сказал Уэйн, бросая карандаш. – А пяти фунтов как не бывало!

– Ошибаетесь, – заметил Тернбулл. – Где вам, суровым людям, понять, насколько лучше спорится дело, если его приправить чепуховиной да вдобавок хорошенько перекусить. Я сказал вам сущую правду, только увешал ее словесными побрякушками. Да, вчера вечером я раздал сорок полукрон сорока мальчишкам и разослал их во все концы Лондона: пусть возвращаются оттуда на извозчиках. И сказал, куда возвращаться, – всем к одному и тому же месту. Через полчаса будет расклеено объявление войны и как раз начнут прибывать кебы, а вы держите стражу наготове. Мальчишки знай подкатывают, а мы отпрягаем лошадей – вот она и кавалерия, а кебы чем не баррикады? Извозчикам мы предложим драться вместе с нами или сидеть пока чего в подвалах и погребах. Мальчишки снова пригодятся, будут разведчиками. Главное – что к началу боевых действий у нас будет преимущество над всеми противниками – будет конница. Ну, а теперь, – сказал он, выхлебывая эль, – пойду-ка я обучать ополченцев.

Он вышел из молочной, и лорд-мэр проводил его восхищенным взглядом.

Через минуту-другую он рассмеялся. Смеялся он всего раза два в жизни, издавая довольно странные звуки, – не давалось ему это искусство. Однако даже ему показалась забавной головокружительная проделка с мальчишками и полукронами. А чудовищной нелепости всех своих демаршей и военных приготовлений он не замечал. Он почувствовал себя воителем, и чужая пустая забава стала его душевной отрадой. Тернбулл же все-таки немного забавлялся, но больше радовался возможности противостоять ненавистной

современности, монотонной цивилизации. Разламывать огромные отлаженные механизмы современного бытия и превращать обломки в орудия войны, громоздить баррикады из омнибусов и устраивать наблюдательные посты на фабричных трубах – такая военная игра, на его взгляд, стоила свеч. Он здраво рассудил – и такое здравомыслие будет сотрясать мир до конца времен – рассудил неспешно и здраво, что в веселый час и смерть не страшна.

### Глава III ПОПЫТКА МИСТЕРА БАКА

Королю было подано проникновенное и красноречивое прошение за подписями Уилсона, Баркера, Бака, Свиндона и проч. Они просили дозволить им явиться на имеющее быть в присутствии Его Величества совещание касательно покупки земельного участка, занятого Насосным переулком, в обычных утренних парадных костюмах, а не в лорд-мэрских нарядах, уповая при этом, что придворный декорум пострадает лишь незначительно, и заверяя Его Величество в своем совершеннейшем и несказаннейшем почтении. Так что все участники совещания были в сюртуках и даже король явился всего-навсего в смокинге с орденом, что, впрочем, бывало и прежде, но на этот раз он нацепил не орден Подвязки, а бляху-значок клуба Дружков Старого Проныры, превеликими трудами раздобытый в редакции полупенсовой газетенки для школьников. Итак, все были в черном; но в ярко-алом величественно вошел в палату Адам Уэйн, как всегда, препоясанный мечом.

– Мы собрались,– объявил Оберон,– дабы разрешить труднейший и неотложный вопрос. Да сопутствует нам удача! – И он чинно уселся во главе стола.

Бак подвинул кресло поудобнее и заложил ногу на ногу.

– Ваше Величество,– как нельзя добродушней сказал он,– я не пойму одного – почему бы нам не решить этот вопрос за пять минут. Имеется застройка: мы ее сносим и получаем тысячную прибыль, даром что сама-то она и сотни не стоит. Ладно, мы даем за нее тысячу. Я знаю, так дела не делаются, можно бы сторговать и подешевле; неправильно это, не по-нашему, но вот чего уж тут нет – так это затруднений.

– Затруднение очень простое,– сказал Уэйн.– Предлагайте хоть миллион

– Насосный переулок просто-напросто не продается.

– Погодите, погодите, мистер Уэйн,– холодно, однако же с напором вмешался Баркер.– Вы одумайтесь. Вы не имеете никакого права занимать такую позицию. Торговаться вы имеете право – но вы же не торгуетесь. Вы, наоборот, отвергаете предложение, которое любой нормальный человек на вашем месте принял бы с благодарностью,– а вы отвергаете, нарочито и злонамеренно; да, иначе не скажешь, злонамеренно и нарочито. Это, знаете ли, дело уголовное – вы идете против общественных интересов. И королевское правительство вправе вас принудить.

Он распластал пальцы на столе и впился глазами в лицо Уэйна: тот и бровью не повел.

– Да, вправе... принудить вас,– повторил он.

– Какое вправе, обязано,– коротко проговорил Бак, резко придвинувшись к столу.– Мы со своей стороны сделали все.

Уэйн медленно поднял на него глаза.

– Я ослышался,– спросил он,– или милорд Бак и вправду сказал, что король Англии что-то кому-то обязан?

Бак покраснел и сердито поправился:

– Не обязан, так должен – словом, что надо, то надо. Я говорю, мы уж, знаете, расщедрились донельзя: кто скажет, что нет? В общем, мистер Уэйн, я человек вежливый, я вас обижать не хочу. И надеюсь, вы не очень обидитесь, если я скажу, что вам самое место в тюрьме. Преступно это – мешать по своей прихоти общественным работам. Эдак другой спалит десять тысяч луковиц у себя в палисаднике, а третий пустит детей голышом бегать по улице; и вы вроде них, никакого права не имеете. Бывало и прежде, что людей заставляли

продавать. Вот и король, надеюсь, вас заставит, велит – и все тут.

– Но пока не велит, – спокойно отвечал Уэйн, – до тех пор законы и власти нашей великой нации на моей стороне, и попробуйте-ка это оспорить!

– В каком же это смысле, – воскликнул Баркер, сверкая глазами и готовясь поймать противника на слове, – в каком же это, извините, смысле законы и власти на вашей стороне?

Широким жестом Уэйн развернул на столе большой свиток, поля которого были изрисованы корявыми акварельными человечками в коронах и венках.

– Хартия предместий... – заявил он. Бак грубо выругался и захохотал.

– Бросьте вы idiotские шутки. Хватит с нас и того...

– И вы смеете сидеть здесь, – воскликнул Уэйн, вскочив, и голос его зазвучал, как труба, – и вместо ответа мне бросать оскорбления в лицо королю?

Разъяренный Бак тоже вскочил.

– Ну, меня криком не возьмешь, – начал он, но тут король медлительно и неопишимо властно проговорил:

– Милорд Бак, напоминаю вам, что вы находитесь в присутствии короля. Редкостный случай: прикажете монарху просить защиты от верноподданных?

Баркер повернулся к нему, размахивая руками.

– Да ради же Бога не берите сторону этого сумасшедшего! – взмолился он. – Отложите свои шуточки до другого раза! Ради всего святого...

– Милорд правитель Южного Кенсингтона, – по-прежнему размеренно молвил король Оберон, – я не улавливаю смысла ваших реплик, которые вы произносите чересчур быстро, а при дворе это не принято. Очень похвально, что вы пытаетесь дополнить невнятную речь выразительными жестами, но увы, и они дела не спасают. Я сказал, что лорд-мэр Северного Кенсингтона, – а я обращался к нему, а не к вам, – лучше бы воздержался в присутствии своего суверена от непочтительных высказываний по поводу его королевских манифестов. Вы несогласны?

Баркер заерзал в кресле, а Бак смолчал, ругнувшись под нос, и король безмятежно приказал:

– Милорд правитель Ноттинг-Хилла, продолжайте.

Уэйн обратил на короля взор своих голубых глаз, к общему удивлению, в них не было торжества – была почти ребяческая растерянность.

– Прошу прощения, Ваше Величество, – сказал он, – боюсь, что я виноват не менее, нежели лорд-мэр Северного Кенсингтона. Мы оба в пылу спора вскочили на ноги; стыдно сказать, но я первый. Это в немалой степени оправдывает лорд-мэра Северного Кенсингтона, и я смиренно прошу Ваше Величество адресовать упрек не ему, но главным образом мне. Мистер Бак, разумеется, не без вины он погорячился и неуважительно высказался о Хартии. В остальном же он, по-моему, тщательно соблюдал учтивость.

Бак прямо-таки расцвел: деловые люди – народ простодушный, в этом смысле они сродни фанатикам. А король почему-то впервые в жизни выглядел пристыженно.

– Спасибо лорд-мэру Ноттинг-Хилла на добром слове, – заявил Бак довольным голосом, – я так понимаю, что он не прочь от дружеского соглашения. Стало быть, так, мистер Уэйн. Вам были поначалу предложены пятьсот фунтов за участочек, за который, по совести, и сотни-то много. Но я – человек, прямо скажу, богатый, и коли уж вы со мной по-хорошему, то и я с вами так же. Чего там, кладу тысячу пятьсот, и Бог с вами. На том и ударим по рукам, – и он поднялся, расхохотавшись и сияя дружелюбием.

– Ничего себе, полторы тысячи, – прошептал мистер Уилсон, правитель Бейзуотера. – А мы как, полторы тысячи-то наберем?

– Это уж моя забота, – радушно сказал Бак. – Мистер Уэйн как настоящий джентльмен не поспешил замолвить за меня словечко, и я у него в долгу. Ну что ж, вот, значит, и конец переговорам.

Уэйн поклонился.

– И я того же мнения. Сожалею, но сделка невозможна.

– Как? – воскликнул мистер Баркер, вскакивая на ноги.

– Я согласен с мистером Баком, – объявил король.

– Да еще бы нет. – Тот сорвался на крик и тоже вскочил. – Я же говорю...

– Я согласен с мистером Баком, – повторил король. – Вот и конец переговорам.

Все поднялись из-за стола, и один лишь Уэйн не выказывал ни малейшего волнения.

– В таком случае, – сказал он, – Ваше Величество, наверно, разрешит мне удалиться? Я свое последнее слово сказал.

– Разрешаю вам удалиться, – сказал Оберон с улыбкой, однако ж не поднимая глаз. И среди мертвого молчания лорд-мэр Ноттинг-Хилла прошествовал к дверям.

– Ну? – спросил Уилсон, оборачиваясь к Баркеру. – Ну и как же?

Баркер безнадежно покачал головой.

– Место ему – в лечебнице, – вздохнул он. – Но хотя бы одно ясно – его можно сбросить со счетов. Чего толковать с сумасшедшим?

– Да, – сказал Бак, мрачно и решительно соглашаясь. – Вы совершенно правы, Баркер. Он парень-то неплохой, но это верно: чего толковать с сумасшедшим? Давайте рассудим попросту: пойдите скажите первым десяти прохожим, любому городскому врачу, что одному тут предложили полторы тысячи фунтов за земельный участок, которому красная цена четыреста, а он в ответ что-то мелет о нерушимых правах Ноттинг-Хилла и называет его священной горой. Что вам скажут, как вы думаете? На нашей стороне здравый смысл простых людей – чего еще нам надо? На чем все законы держатся, как не на здравом смысле? Я вот что скажу, Баркер: правда, хватит трепаться. Прямо сейчас посылаем рабочих – и с Насосным переулком покончено. А если старина Уэйн хоть слово против брякнет – мы его тут же в желтый дом. Поговорили – и будет.

У Баркера загорелись глаза.

– Извините за комплимент, Бак, но я всегда считал вас настоящим человеком дела. Я вас целиком поддерживаю.

– Я, разумеется, тоже, – заявил Уилсон. Бак победно выпрямился.

– Ваше Величество, – сказал он, в новой роли народного трибуна, – я смиренно умоляю Ваше Величество поддержать это наше предложение, с которым все согласны. И уступчивость Вашего Величества, и наши старания – все было впустую, не тот человек. Может, он и прав. Может, он и взаправду Бог, а нет – так дьявол. Но в интересах дела мы решили, что он – умалишенный. Начнешь с ним канителиться – пиши пропало. Мы канителиться не станем, и без всяких проволочек принимаемся за Ноттинг-Хилл.

Король откинулся в кресле.

– Хартия предместий... – звучно выговорил он.

Но Бак теперь уже взял быка за рога, сделался осторожнее и не проявил неуважения к монаршим дурачествам.

– Ваше Величество, – сказал он, почтительно поклонившись, – я слова не скажу против ваших деяний и речений. Вы человек образованный, не то что я, и стало быть, какие ни на есть, а есть причины – интеллектуальные, наверно, – для всей этой круговерти. Но я вас вот о чем спрошу – и пожалуйста, если можно, ответьте мне по совести. Вы когда сочиняли свою Хартию предместий – вы могли подумать, что явится на свет Божий такой Адам Уэйн? Могли вы ожидать, что ваша Хартия – пусть это будет эксперимент, пусть декорация, пусть просто шутка, не важно, – но что она застопорит огромные деловые начинания, перегородит дорогу кебам, omnibusам, поездам, что она разорит полгорода и приведет чуть ли не к гражданской войне? На что бы вы ни рассчитывали, но уж не на это, верно?

Баркер и Уилсон восхищенно посмотрели на него; король взглянул еще восхищенной.

– Лорд-мэр Бак, – сказал Оберон, – ораторствуете вы так, что лучше некуда. И я как художник слова великодушно снимаю перед вами шляпу. Нет, я нимало не предвидел возникновения мистера Уэйна. Ах! если б у меня хватило на это поэтического чутья!

– Благодарствуйте, Ваше Величество, – с почтительной поспешностью отозвался Бак. – Ваше Величество всегда изъясняетесь внятно и продуманно, и я не премину сделать вывод



из ваших слов. Раз ваш заветный замысел, каков бы он ни был, не предполагал возникновения мистера Уэйна, то исчезновение мистера Уэйна вам тоже нипочем. Так позвольте уж нам снести к чертовой матери этот треклятый Насосный переулочек, который мешает нашим замыслам и ничуть, как вы сами сказали, не способствует вашим.

– Вмазал! – заметил король с восторженным безучастием, словно зритель на матче.

– Уэйна этого, – продолжал Бак, – любой доктор тут же упрячет в больницу. Но этого нам не надо, пусть его просто посмотрят. А тем временем ну никто, ну даже он сам, не понесет ни малейшего урона из-за обновления Ноттинг-Хилла. Мы-то, само собой, не понесем: мы это дело тихо обмозговывали добрых десять лет. И в Ноттинг-Хилле никто не пострадает: все его нормальные обитатели ждут не дождутся перемен. Ваше Величество тоже останется при своем: вы же сами говорите и, как всегда, здраво, что никак не предвидели появления этого оглашенного. И, повторяю, сам он тоже только выиграет: он – малый добродушный и даже даровитый, а ежели его посмотрит доктор-другой, так толку будет больше, чем от всех свободных городов и священных гор. Словом, я полагаю – извините, если это на ваш слух дерзко звучит, – что Ваше Величество не станет препятствовать продолжению строительных работ.

И мистер Бак уселся под негромкий, но восторженный гул одобрения.

– Мистер Бак, прошу у вас прощенья за посещавшие меня порой изящные и возвышенные мысли, в которых вам неизменно отводилась роль последнего болвана. Впрочем, мы сейчас не о том. Предположим, пошлете вы своих рабочих, а мистер Уэйн – он ведь на это вполне способен – выводит их с колотушками?

– Я подумал об этом, Ваше Величество, – с готовностью отвечал Бак, – и не предвижу особых затруднений. Отправим рабочих с хорошей охраной, отправим с ними – ну, скажем, сотню алебардчиков Северного Кенсингтона (он брезгливо ухмыльнулся), столь любезных сердцу Вашего Величества. Или, пожалуй, сто пятьдесят. В Насосном переулочке всего-то, кажется, сотня жителей, вряд ли больше.

– А если эта сотня все-таки задаст вам жару? – задумчиво спросил король.

– В чем дело, пошлем две сотни, – весело возразил Бак.

– Знаете ли, – мягко предположил король, – оно ведь может стать, что один алебардчик Ноттинг-Хилла стоит двух северных кенсингтонцев.

– Может и такое стать, – равнодушно согласился Бак. – Ну что ж, пошлем двести пятьдесят.

Король закусил губу.

– А если и этих побьют? – ехидно спросил он.

– Ваше Величество, – отвечал Бак, усевшись поудобнее, – и такое может быть. Ясно одно – и уж это яснее ясного: что война – простая арифметика. Положим, выставит против нас Ноттинг-Хилл сто пятьдесят бойцов. Ладно, пусть двести И каждый из них стоит двух наших – тогда что же, пошлем туда не четыре даже сотни, а целых шесть, и уж тут хочешь не хочешь, наша возьмет. Невозможно ведь предположить, что любой из них стоит наших четверых? И все же – зачем рисковать? Покончить с ними надо одним махом. Шлем восемьсот, сотрем их в порошок – и за работу.

Мистер Бак извлек из кармана пестрый носовой платок и шумно высморкался.

– Знаете ли, мистер Бак, – сказал король, грустно разглядывая стол, – вы так ясно мыслите, что у меня возникает немислимое желание съездить вам, не примите за грубость, по морде. Вы меня чрезвычайно раздражаете. Почему бы это, спрашивается? Остатки, что ли, нравственного чувства?

– Однако же, Ваше Величество, – вкрадчиво вмешался Баркер, – вы же не отвергаете наших предложений?

– Любезный Баркер, ваши предложения еще отвратительнее ваших манер. Я их знать не хочу. Ну, а если я вам ничего этого не позволю? Что тогда будет?

И Баркер отвечал вполголоса:

– Будет революция.

Король быстро окинул взглядом собравшихся. Все сидели потупившись; все покраснели. Он же, напротив, странно побледнел и внезапно поднялся.

– Джентльмены,– сказал он,– вы меня приперли к стенке. Говорю вам прямо, что, по-моему, полоумный Адам Уэйн стоит всех вас и еще миллиона таких же впридачу. Но за вами сила и, надо признать, здравый смысл, так что ему несдобровать. Давайте собирайте восемьсот алебардчиков и стирайте его в порошок. По-честному, лучше бы вам обойтись двумя сотнями.

– По-честному, может, и лучше бы,– сурово отвечал Бак,– но это не по-хорошему. Мы не художники, нам неохота любоваться на окровавленные улицы.

– Подловато, – сказал Оберон.– Вы их задавите числом, и битвы никакой не будет.

– Надеемся, что не будет,– сказал Бак, вставая и натягивая перчатки.– Нам, Ваше Величество, никакие битвы не нужны. Мы мирные люди, мы народ деловой.

– Ну что ж,– устало сказал король,– вот и договорились. Он мигом вышел из палаты; никто и шевельнуться не успел.

\* \* \*

Сорок рабочих, сотня бейзуотерских алебардчиков, две сотни южных кенсингтонцев и три сотни северных собрались возле Холланд-Парка и двинулись к Ноттинг-Хиллу под водительством Баркера, раскрасневшегося и разодетого. Он замыкал шествие; рядом с ним угрюмо плелся человек, похожий на уличного мальчишку. Это был король.

– Баркер,– принялся он канючить,– вы же старый мой приятель, вы знаете мои пристрастия не хуже, чем я ваши. Не надо, а? Сколько потехи-то могло быть с этим Уэйном! Оставьте вы его в покое, а? Ну что вам, подумаешь – одной дорогой больше, одной меньше? А для меня это очень серьезная шутка – может, она меня спасет от пессимизма. Ну, хоть меньше людей возьмите, и я часок-другой порадуюсь. Нет, правда, Джеймс, собирали бы вы монеты или, пуще того, колибри, и я бы мог раздобыть для вас монетку или пташку – ей-богу, не пожалел бы за нее улицы! А я собираю жизненные происшествия – это такая редкость, такая драгоценность. Не отнимайте его у меня, плюньте вы на эти несчастные фунты стерлингов. Пусть порезвятся ноттингхилльцы. Не трогайте вы их, а?

– Оберон,– мягко сказал Баркер, в этот редкий миг откровенности обращаясь к нему запросто,– ты знаешь, Оберон, я тебя понимаю. Со мною тоже такое бывало: кажется, и пустяк, а дороже всего на свете. И дурачества твоим я, бывало, иногда сочувствовал. Ты не поверишь, а мне даже безумство Адама Уэйна бывало по-своему симпатично. Однако же, Оберон, жизнь есть жизнь, и она дурачества не терпит. Двигатель жизни – грубые факты, они вроде огромных колес, и ты вокруг них порхаешь, как бабочка, а Уэйн садится на них, как муха.

Оберон заглянул ему в глаза.

– Спасибо, Джеймс, ты кругом прав. Я, конечно, могу слегка утешаться в том смысле, что даже мухи неизмеримо разумнее колес. Но мушиный век короткий, а колеса – они вертятся, вертятся и вертятся. Ладно, вертись с колесом. Прощай, старина.

И Джеймс Баркер бодро зашагал дальше, румяный и веселый, постукивая по ноге бамбуковой тросточкой.

Король проводил удаляющееся воинство тоскливым взглядом и стал еще больше обычного похож на капризного младенца. Потом он повернулся и хлопнул в ладоши.

– В этом серьезнейшем из миров,– сказал он,– нам остается только есть. Тут как-никак смеху не оберешься. Это же надо – становятся в позы, пыжатася, а жизнь-то от природы смехотворна: как ее, спрашивается, поддерживают? Поиграет человек на лире, скажет: «Да, жизнь – это священнодействие», а потом идет, садится за стол и запихивает разные разности в дырку на лице. По-моему, тут природа все-таки немного сгубила – ну что это за дурацкие шутки! Мы, конечно, и сами хороши, нам подавай для смеху балаган, вроде как мне с этими предместьями. Вот природа и смешит нас, олухов, зрелищем еды или зрелищем кенгуру. А

звезды или там горы – это для тех, у кого чувство юмора потоньше.

Он обратился к своему конюшему:

– Но я сказал «есть», так поедим же: давайте-ка устроим пикник, точно благонравные детки. Шагом марш, Баулер, и да будет стол, а на нем двенадцать, не меньше, яств и вдоволь шампанского – под этими густолиственными ветвями мы с вами вернемся к природе.

Около часу заняла подготовка к скромной королевской трапезе на Холланд-Лейн; тем временем король расхаживал и посвистывал – впрочем, довольно мрачно. Он предвкушал потеху, обманулся и теперь чувствовал себя ребенком, которому показали фигу вместо обещанного представления. Но когда они с конюшим подзакусили и выпили как следует сухого шампанского, он понемногу воспрянул духом.

– Как все, однако, медленно делается, – сказал он. – Очень мне мерзостны эти баркеровские идеи насчет эволюции и маломальского преобразования того-сего в то да се. По мне, уж лучше бы мир и вправду сотворили за шесть дней и еще за шесть разнесли вдребезги. Да я бы сам за это и взялся. А так – ну что ж, в целом неплохо придумано: солнце, луна, по образу и подобию<sup>45</sup> и тому подобное, но как же все это долго тянется! Вот вы, Баулер, никогда не жаждали чуда?

– Никак нет, сэр, – отвечал Баулер, эволюционист по долгу службы.

– А я жаждал, – вздохнул король. – Иду, бывало, по улице с лучшей на свете и во вселенной сигарой в зубах, в животе у меня столько бургундского, сколько вы за всю свою жизнь не видывали; иду и мечтаю – эх, вот бы фонарный столб взял да и превратился в слона, а то скучно, как в аду. Вы уж мне поверьте, разлюбезный мой эволюционист Баулер, – вовсе не от невежества люди искали знамений и веровали в чудеса. Наоборот, они были мудрецами – может, гнусными и гадкими, а все же мудрецами, и мудрость мешала им есть, спать и терпеливо обуваться. Батюшки, да этак я, чего доброго, создам новую теорию происхождения христианства – вот уж, право, нелепица! Хлопнем-ка лучше еще винишка.

Они сидели за небольшим столиком, застланным белоснежной скатертью и уставленным разноцветными бокалами; свежий ветер овеивал их и раскачивал верхушки деревьев Холланд-Парка, а лучистое солнце золотило зелень. Король отодвинул тарелку, не спеша раскурил сигару и продолжал:

– Вчера я было подумал, будто случилось нечто едва ли не чудесное, и я успею этому порадоваться, прежде чем обрадую могильных червей своим появлением под землей. Ох, поглядел бы я, как этот рыжий маньяк размахивает огромным мечом и произносит зажигательные речи перед сонмом своих невообразимых сторонников – и приоткрылся бы мне Край Вечной Юности, сокрытый от нас судьбами. Я такое напридумывал! Конгресс в Найтсбридже, Найтсбриджский договор – я тут как тут, на троне; может, даже триумф по-древнеримски и бедняга Баркер в каких ни на есть цепях. А теперь эти мерзавцы, эти устроители жизни, будь они трижды прокляты, пошли устранять мистера Уэйна, и заточат они его ради вящей гуманности в какую-нибудь такую лечебницу. Да вы подумайте, какие сокровища красноречия будут изливаться на голову равнодушного зрителя, а? Хоть бы уж меня, что ли, назначили его зрителем. Словом, жизнь – это юдоль. Всегда об этом помните, и все будет в порядке. Главное, надо сызмала...

Король прервался, и сигара, которой он жестикулировал, замерла в воздухе: он явно прислушивался к чему-то. Несколько секунд он не двигался; потом резко обернулся к высокой и сплошной речной изгороди, отделявшей сады и лужайки от улицы. Изгородь содрогалась, будто какой-то плененный зверь царапал и грыз деревянную клетку. Король отшвырнул сигару, вспрыгнул на стол – и сразу увидел руки, уцепившиеся за верх изгороди. Руки напряглись в судорожном усилии, и между ними появилась голова – не чья-нибудь, а бейзуотерского городского советника: глаза выпучены, бакенбарды торчком. Он перевалился и плюхнулся оземь, издавая громкие и непрерывные стоны. Точно залп ударил в тонкую

---

<sup>45</sup> *Солнце, луна, по образу и подобию.* – Быт., i, 16.

дощатую ограду; она загудела, как барабан, послышалась суматошная ругань, и через нее перемахнули разом человек двадцать в изорванной одежде, со сломанными ногтями и окровавленными лицами. Король соскочил со стола и отпрыгнул футов на пять в сторону; стол был опрокинут, бутылки и бокалы, тарелки и объедки разлетелись, людской поток подхватил и унес Баулера, как впоследствии написал в своем знаменитом репортаже король, «словно похищенную невесту». Высокая ограда зашаталась, разламываясь, как под градом картечи: на нее лезли, с нее прыгали и падали десятки людей, из проломов появлялись все новые и новые безумные лица, выскакивали все новые беглецы. Это была суцая человечья свалка: одни каким-то чудом целы и невредимы, другие – израненные, в крови и грязи; некоторые роскошно одеты, а иные – полуголые и в лохмотьях; те – в несурзном шутовском облачении, эти – в обыкновенных современных костюмах. Король глядел на них во все глаза, но из них никто даже не взглянул на короля. Вдруг он сделал шаг вперед.

– Баркер, – крикнул он, – что случилось?

– Разбиты, – отозвался тот, – разгромлены – в пух и прах! – и умчался, пыхтя, как загнанная лошадь, в толпе беглецов.

В это самое время последний стоячий кусок изгороди, треща, накренился, и камнем из пращи выбросило на аллею человека, вовсе не похожего на остальных, в алой форме стражника Ноттинг-Хилла; алебарда его была в крови, на лице – упоение победы. И тут же через поверженную изгородь хлынуло алое воинство с алебардами наперевес. Гонители вслед за гонимыми промелькнули мимо человека с свиными глазами, который не вынимал рук из карманов. Сперва он понимал только, что ненароком чуть не угодил в бредовый людской водоворот. Но потом случилось что-то неопишное – у него описание не выходило, а мы и пробовать не будем. В темном проходе на месте разметанных ворот возникла, как в раме, пламенеющая фигура.

Победитель Адам Уэйн стоял, закинув голову и воздев к небесам свой огромный меч; его пышные волосы вздыбились, как львиная грива, а красное облачение реяло за плечами, точно архангельские крылья. И король вдруг почему-то увидел мир совсем иными глазами. Ветер качал густозеленые кроны деревьев и взметывал полы алой мантии. Меч сверкал в солнечных лучах. Нелепый маскарад, в насмешку выдуманный им самим, сомкнулся вокруг него и поглотил весь свет. И это было нормально, разумно и естественно; зато он, рассудительный и насмешливый джентльмен в черном сюртучке, был исключением, случайностью – черным пятном на ало-золотых ризах.

## Книга четвертая

### Глава I ФОНАРНАЯ БИТВА

Мистер Бак хоть и жил на покое, но частенько захаживал в свой большой фирменный магазин на Кенсингтон-Хай-стрит; и нынче он запирает его, уходя последним. Стоял чудесный золотисто-зеленый вечер, но до этого ему особого дела не было; впрочем, скажи ему кто-нибудь об этом, он бы степенно согласился: богатому человеку идет тонкая натура.

Потянуло прохладой: он застегнул желтое летнее пальто и задымил сигарой; в это время на него чуть не наскочил человек тоже в желтом пальто, но демисезонном и расстегнутом, чтоб не сказать распахнутом.

– А, Баркер! – узнал его суконщик. – За покупками, на распродажу? Опоздали, опоздали. Рабочий день кончен, закон не велит, Баркер. Гуманность и прогресс – не шутка, голубчик мой.

– Ох, да не болтайте вы! – крикнул Баркер, топнув ногой. – Мы разбиты.

– Что значит разбиты? – не понял Бак.

– Уэйн разгромил нас.

Бак наконец посмотрел в лицо Баркеру: лицо было искаженное, бледное и потное, поблескивавшее в фонарном свете.

– Пойдемте выпьем чего-нибудь, – сказал он.

Они зашли в первый попавшийся ресторанчик, уютный и светлый; Бак развалился в кресле и вытащил портсигар.

– Закуривайте, – предложил он.

Взбурдаженный Баркер словно бы не собирался садиться; потом все-таки присел так, будто вот-вот вскочит. Они заказали виски, не обменявшись ни словом.

– Ну и как же это случилось? – спросил Бак, устремив на собеседника крупные властные глаза.

– А я почему знаю? – выкрикнул Баркер. – Случилось, будто – будто во сне. Как могут двести человек одолеть шестьсот? Вот как?

– Ну-ну, – спокойно сказал Бак, – и как же они вас одолели? Припомните-ка.

– Не знаю; это уму непостижимо, – отвечал тот, барабаня по столу. – Значит, так. Нас было шестьсот, все с этими треклятыми обероновыми рогатинами – и никакого другого оружия. Шли колонной по двое, мимо Холланд-Парка между высокими изгородами – мне-то казалось, мы идем напрямик к Насосному переулку. Я шел в хвосте длинной колонны, нам еще идти и идти между оградами, а головные уже пересекали Холланд-Парк-авеню. Они там за авеню далеко углубились в узенькие улочки, а мы вышли к перекрестку и следом за ними на той, северной стороне свернули в улочку, которая хоть вкось и вкривь, а все ж таки ведет к Насосному переулку – и тут все переменилось. Улочки стали теряться, мешаться, сливаться, петлять, голова колонны была уже невесть где, спасибо, если не в Северной Америке И кругом – ни души.

Бак страшнул столбик сигарного пепла мимо пепельницы и начал развозить его по столу: серые штрихи сложились в подобие карты.

– И вот, хотя на этих улочках никого не было (а это, знаете ли, действует на нервы), но когда мы в них втянулись и углубились, начало твориться что-то совсем уж непонятное. Спереди – из-за трех-четырех поворотов – вдруг доносился шум, лязг, сдавленные крики, и снова все затихало. И когда это случалось, по всей колонне – ну, как бы сказать – дрожь, что ли, пробегала, всех дергало, будто колонна – не колонна, а змея, которой наступили на голову, или провод под током. Чего мы мечемся – никто не понимал, но метались, толпились, толкались; потом, опомнившись, шли дальше, дальше, петляли грязными улочками и взбирались кривыми проулками. Что это было за петляние – ни объяснить, ни рассказать: как страшный сон. Все словно бы потеряло всякий смысл, и казалось, что мы никогда не выберемся из этого лабиринта. Странно от меня такое слышать, правда? Обыкновенные это были улицы, известные, все есть на карте. Но я говорю, как было. Я не того боялся, что вот сейчас что-нибудь случится. Я боялся, что не случится больше ничего до скончания веков.

Он осушил стакан, заказал еще виски, выпил его и продолжал:

– Но наконец случилось. Клянусь вам, Бак, что с вами никогда еще ничего не происходило. И со мной не происходило.

– Как это – не происходило? – изумился Бак. – Что вы хотите сказать?

– Никогда ничего не происходило, – с болезненным упорством твердил Баркер. – Вы даже не знаете, как это бывает! Вот вы сидите в конторе, ожидаете клиентов – и клиенты приходят, идете по улице навстречу друзьям – и встречаете друзей; хотите выпить – пожалуйста; решили держать пари – и держите. Вы можете выиграть или проиграть, и либо выигрываете, либо проигрываете. Но уж когда происходит! – И его сотрясла дрожь.

– Дальше, – коротко сказал Бак. – Дальше.

– Вот так мы плутали и плутали, и наконец – бац! Когда что-то происходит, то это лишь потом замечаешь. Оно ведь происходит само, ты тут ни при чем. И выясняется жуткая вещь: ты, оказывается, вовсе не пуп земли! Иначе не могу это выразить. Мы свернули за угол, за другой, за третий, за четвертый, за пятый. Потом я медленно пришел в сознание и

выкарабкался из сточной канавы, а меня опять сшибли, и на меня валились, весь мир заполнился грохотом, и больших, живых людей расшвыривало, как кегли.

Бак посмотрел на свою карту, насупив брови.

– Это было на Портобелло-роуд? – спросил он.

– Да, – сказал Баркер, – да, на Портобелло-роуд<sup>46</sup>. Я потом увидел табличку; но Боже мой, какое там Портобелло-роуд! Вы себе представьте, Бак: вы стоите, а шестифутовый детина, у которого в руках шестифутовое древко с шестью фунтами стали на конце, снова и снова норовит раскроить этой штукой вам череп! Нет, уж если вы такое переживете, то придется вам, как говорит Уолт Уитмен<sup>47</sup>, «пересмотреть заново философии и религии».

– Оно конечно, – сказал Бак. – Ну, а коли это было на Портобелло-роуд, вы сами-то разве не понимаете, что случилось?

– Как не понимать, отлично понимаю. Меня сшибли с ног четыре раза: я же говорю, это сильно меняет отношение к жизни. Да, случилось еще кое-что: я сшиб с ног двоих. В четвертый раз на карачках (кровопролития особого не было, просто жестокая драка – где там размахнешься алебардой!) – так вот, поднявшись на ноги в четвертый раз, я осатанел, выхватил у кого-то протазан и давай гвоздить им где только вижу красные хламиды уэйновских молодчиков. С Божьей помощью сбил с ног двоих – они здорово окровавили мостовую. А я захохотал – и опять грохнулся в канаву, и снова встал и гвоздил направо и налево, пока не разломался протазан. Кого-то все-таки еще ранил в голову.

Бак стукнул стаканом по столу и крепко выругался, топорща густые усы.

– В чем дело? – удивленно осекся Баркер: то он его слушал с завидным спокойствием, а теперь взъярился больше его самого.

– В чем дело? – злобно переспросил Бак. – А вы не видите, как они обставили нас, эти маньяки? Что эти два идиота – шут гороховый и полоумный горлопан – подстроили нормальным людям ловушку, и те будто ошалели. Да вы себе только представьте, Баркер, такую картину: современный, благовоспитанный молодой человек в сюртуке скачет туда-сюда, размахивая курам на смех алебардой семнадцатого века – и покушается на смертоубийство обитателей Ноттинг-Хилла! Черт побери! И вам непонятно, как они нас обставили? Не важно, что вы чувствовали, – важно, как это выглядело. Король склонил бы свою дурацкую головенку набок и сказал бы, что это восхитительно. Лорд-мэр Ноттинг-Хилла задрал бы кверху свой дурацкий нос и сказал бы, что это геройство. Но вы-то ради Бога подумайте – как бы вы сами это назвали два дня назад? Баркер закусил губу.

– Вас там не было, Бак, – сказал он. – Вы себе не представляете этой стихии – стихии битвы.

– Да не спорю я против стихии! – сказал Бак, ударив по столу. – Я только говорю, что это их стихия. Это стихия Адама Уэйна. Мы же с вами считали, что эта стихия давным-давно навсегда исчезла из цивилизованного мира!

– Так вот не исчезла, – сказал Баркер, – а коли сомневаетесь, дайте мне протазан, и я вам докажу, что не исчезла.

Молчание затянулось; потом Бак обратился к собеседнику тем доверительным тоном – будем, дескать, смотреть правде в глаза, – который помогал ему заключать особо выгодные сделки.

– Баркер, – сказал он, – вы правы. Эта древняя стихия – стихия битвы – снова тут как тут. Она ворвалась внезапно и застала нас врасплох. Пусть так, пусть на первый случай победил Адам Уэйн. Но не перевернулось же все вверх дном – и разум, и арифметика остались в силе, а значит, в следующий раз мы одолеем его, и одолеем окончательно. Раз

---

<sup>46</sup> *Портобелло-роуд* – улица в Лондоне, пересекающая Ноттинг-Хилл с северо-запада на юго-восток.

<sup>47</sup> *...как говорит Уолт Уитмен, «пересмотреть заново философии и религии».* – Честертон неточно цитирует предисловие У. Уитмена к «Листьям травы» (1855).

перед нами встает какая-то задача, надо толком изучить ее условия и повернуть дело в свою пользу. Раз надо воевать – что ж, разберемся, в чем тут секрет. Я должен уразуметь условия войны так же спокойно и обстоятельно, как я вникаю в сукноделие; вы – так же, как вникаете в политику, спокойно и обстоятельно. Перейдем к фактам. Я ничуть не отступаю от того, что говорил прежде. Если у нас есть решающий перевес, то война – простая арифметика. А как же иначе? Вы спрашивали, каким образом двести человек могут победить шестьсот. Я вам отвечаю. Двести человек могут победить шестьсот, когда шестьсот воюют по-дурацки. Когда они теряют из виду обстановку и ведут боевые действия на болотах, точно это горы, в лесу – будто это равнина; когда они ведут уличные бои, забывая о назначении улиц.

– А каково назначение улиц? – спросил Баркер.

– А каково назначение ужина? – сердито передразнил его Бак. – Разве неясно? Военное дело требует здравого смысла, и не более того. Назначение улиц – вести из одного места в другое: поэтому улицы соединяются и поэтому уличный бой – дело особое. Вы шествовали по лабиринту улочек, словно по открытой равнине, точно у вас был круговой обзор. А вы углублялись в крепостные ходы, и улицы вас выдавали, улицы вас предавали, улицы сбивали вас с пути, и все это было на руку неприятелю. Вы знаете, что такое Портобелло-роуд? Это единственное место на вашем пути, где боковые улочки встречаются напрямую. Уэйн собрал своих людей по обе стороны, пропустил половину колонны и перерезал ее, как червяка. А вы не понимаете, что могло вас выручить?

Баркер покачал головой.

– Эх вы, а еще толкуете про «стихию»! – горько усмехнулся Бак. – Ну что мне, объяснять вам на высокопарный лад? Представьте же, что, когда вы вслепую отбивались с обеих сторон от красных ноттингхилльцев, за спиной у них послышался бы боевой клич. Представьте, о романтик Баркер! что за их красными хламидами вы узрели бы синее с золотом облачение южных кенсингтонцев, которые напали на них с тыла, окружили их в свою очередь и отбросили на острия ваших протазанов!

– Если б такое было возможно... – начал Баркер и разразился проклятием.

– Такое было очень даже возможно, – отрезал Бак, – по всем правилам арифметики. К Насосному переулку ведет известное число улиц: их не девятьсот и не девять миллионов. Они по ночам не удлиняются. Они не вырастают, как грибы. Наш огромный численный перевес дает нам возможность наступать сразу со всех сторон. И на каждой уличной артерии, на каждом подходе мы выставим почти столько же бойцов, сколько их всего у Уэйна. Вот и все, и попался птенчик. Просто, как чертеж.

– И вы думаете, это наверняка? – спросил Баркер, еще неуверенный, но страстно желая поверить.

– Я вот что думаю, – добродушно сказал Бак, поднимаясь с кресла, – я думаю, что Адам Уэйн учинил на диво лихую потасовку; и мне его, признаться, дьявольски жаль.

– Бак, я преклоняюсь перед вами! – воскликнул Баркер и тоже встал. – Вы меня вернули к рассудку. Стыдно сказать, но я поддался романтическому наваждению. Да, у вас железная логика. Война подчиняется физическим законам, а стало быть, и математике. Мы потерпели поражение потому, что мы не считались ни с математикой, ни с физикой, ни с логикой – потерпели заслуженное поражение. Занять все подступы, и он, разумеется, в наших руках. Когда откроем боевые действия?

– Сейчас, – сказал Бак, выходя из ресторана.

– Как сейчас! – воскликнул Баркер, торопливо следуя за ним. – Прямо сейчас? Но ведь поздно уже.

Бак обернулся к нему и топнул ногой.

– Вы что, думаете, на войне бывает рабочий день? – сказал он, подзывая кеб. – К Ноттинг-Хиллу, – сказал он, и кеб помчался.

\* \* \*

Иной раз прочную репутацию можно завоевать за час. За шестьдесят или восемьдесят минут Бак с блеском доказал, что он поистине человек дела. Его зигзагообразное перемещение от короля к Уилсону, от Уилсона к Свиндону, от Свиндона назад к Баркеру было молниеносно. В зубах его была неизменная сигара, в руках – карта Северного Кенсингтона и Ноттинг-Хилла. Он снова и снова объяснял, убеждал, настаивал, что в радиусе четверти мили имеется лишь девять подходов к Насосному переулку: три от Уэстборн-Гроув, два от Ледбрук-Гроув и четыре от Ноттинг-Хилл-Хай-стрит. Эти подходы были заняты отрядами по двести человек прежде, чем последний зеленоватый отблеск странного заката погас в темном небе.

Ночь выдалась на редкость темная, и, указывая на это, какой-то маловвер попытался оспорить оптимистические прогнозы лорд-мэра Северного Кенсингтона. Но возобладал заразительный здравый смысл новоявленного полководца.

– В Лондоне,– сказал он,– никакая ночь не темна. Идите от фонаря к фонарю. Смотрите вот сюда, на карту. Две сотни лиловых северных кенсингтонцев под моей командой займут Оссингтон-стрит, еще двести начальник стражи Северного Кенсингтона капитан Брюс поведет через Кланрикард-Гарденз. Двести желтых западных кенсингтонцев под командой лорд-мэра Свиндона наступают от Пембридж-роуд, а еще две сотни моих людей – от восточных улиц, со стороны Квинз-роуд. Два отряда желтых двигаются двумя улицами от Уэстборн-Гроув. И наконец, две сотни зеленых бейзуотерцев подходят с севера по Чепстоу-Плейс; и лорд-мэр Уилсон лично поведет еще две сотни от конца Пембридж-роуд. Джентльмены, это мат в два хода. Неприятель либо сгрудится в Насосном переулке, где и будет истреблен, либо же отступит – если в сторону Коксогазоосветительной компании, то напорется на мои четыре сотни; если же в сторону церкви святого Луки – то на шестьсот копий с запада. Либо мы все свихнулись, либо же дело ясное. Приступаем. Командиры по местам; капитан Брюс подаст сигнал к наступлению – и вперед, от фонаря к фонарю: простая математика одолеет бессмыслицу. Завтра все мы вернемся к мирной жизни.

Его уверенность разгоняла темноту, словно огромный факел, и она передалась всем и каждому в том многосотенном воинстве, которое сомкнулось железным кольцом вокруг жалкой горстки ноттингхилльцев. Сражение было выиграно заранее. Усилия одного человека за один час спасли город от гражданской войны.

Следующие десять минут Бак молча расхаживал возле недвижимого строя своих сотен. Он был одет, как и прежде, но поверх желтого пальто появилась перевязь и кобура с револьвером, и странно выглядел одетый по-нынешнему человек подле алебардчиков в пышных облаченьях, казавшихся лиловыми сгустками ночной темноты.

Наконец откуда-то с соседней улицы донесся пронзительный трубный звук: это был сигнал к наступлению. Бак подал команду, и лиловая колонна, тускло поблескивая стальными жалами протазанов, выползла из проулка на длинную улицу, залитую газовым светом, прямую, как шпага, одну из девяти, направленных в ту ночь в сердце Ноттинг-Хилла.

Четверть часа прошагали в безмолвии; до осажденной крепости было уже рукой подать, но оттуда не доносилось ни звука. На этот раз, однако же, они знали, что неприятель зажат в тисках, и переходили из одного светового озерца в другое, вовсе не чувствуя той жуткой беспомощности, какую испытывал Баркер, когда их одинокую колонну затягивали враждебные улицы.

– Стой! Оружие к бою! – скомандовал Бак: спереди послышался топот. Но втуне оцетинились протазаны. Подбежал гонец от бейзуотерцев.

– Победа, мистер Бак! – возгласил он, задыхаясь. – Они бежали. Лорд-мэр Уилсон занял Насосный переулок.

Бак взволнованно выбежал ему навстречу.

– Куда же они отступают? Либо к церкви святого Луки – там их встретит Свиндон, либо нам навстречу, мимо газовщиков. Беги со всех ног к Свиндону, скажи, чтоб желтые наглухо перекрыли все проходы мимо церкви. Мы здесь начеку, не беспокойтесь. Все, они в капкане. Беги!



Гонец скрылся в темноте, а воинство Северного Кенсингтона двинулось дальше, размеренно и неотвратно. Не прошли они и сотни ярдов, как снова заблестели в газовом свете протазаны, взятые наизготовку: ибо опять раздался топот, и опять прибежал все тот же гонец.

– Мистер лорд-мэр, – доложил он, – желтые западные кенсингтонцы уже двадцать минут после захвата Насосного стерегут все проходы мимо церкви святого Луки. До Насосного и двухсот ярдов не будет: не могли они отступить в ту сторону.

– Значит, отступают в эту, – радостно заключил лорд-мэр Бак, – и, по счастью, вот-вот покажутся на отлично освещенной, хотя, правда, извилистой улице. Вперед!

Им оставалось шагать немногим более трехсот ярдов, и Бак, может статься, впервые в жизни впал в философическое размышление, ибо люди его склада под воздействием успеха добреют и чуть-чуть как бы грустнеют.

– А вот, ей-богу, жаль мне старину Уэйна, – пробормотал он. – Как он за меня заступился тогда на совещании! И Баркеру, ах ты, чтоб его, крепко натянул нос. Вольно ж ему сдуру переть против арифметики, не говоря уж о цивилизации. Ну и вздор же, однако, все эти разговоры о военном гении! Я, видно, подтверждаю открытие Кромвеля<sup>48</sup>: что смекалистый торговец – лучший полководец и что, ежели кто умеет покупать и продавать, тот сумеет посылать людей убивать. Дело-то немудреное: точь-в-точь как подсчитывать приход-расход. Раз у Уэйна две сотни бойцов, то не может он выставить по две сотни на девяти направлениях. Если их вышибли с Насосного – значит, они куда-то отступают. Коли не отступают к церкви, значит, пробираются мимо газовщиков – и сейчас угодят к нам в лапы. У нас, деловых людей, вообще-то своих забот хватает и великие дела нам ни к чему, да вот беда – умники народ ненадежный: чуть что и с панталыку, а мы поправляй. Вот и приходится мне, человеку, скажем так, среднего ума, разглядывать мир взором Господа Бога, взирать на него, как на огромный механизм. О Господи, что такое? – Он прижал ладони к глазам и попятился. И в темноте раздался его дикий, растерянный голос:

– Неужели я богохульствовал? Боже мой, я ослеп!

– Что? – возопил кто-то сзади голосом некоего Уилфрида Джарвиса, северного кенсингтонца.

– Ослеп! – крикнул Бак. – Я ослеп!

– Я тоже ослеп! – отчаянно подхватил Джарвис.

– Одурели вы, а не ослепли, – сказал грубый голос сзади, – а ослепли мы все. Фонари погасли.

– Погасли? Почему? Отчего? – вскрикивал Бак, ни за что не желая примириться с темнотой и вертяться волчком. – Как же нам наступать? Мы же упустим неприятеля! Куда они подевались?

– Да они, видать... – произнес все тот же сипловатый голос и осекся.

– Что видать? – крикнул Бак, топая и топая ногой.

– Да они, – сказал непочтительный голос, – видать, пошли мимо газовщиков ну и сообразили кое-что.

– Боже праведный! – воскликнул Бак и схватился за револьвер, – вы думаете, они перекрыли...

Не успел он договорить, как невидимая сила швырнула его в черно-лиловую людскую гущу.

– Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! – закричали из темноты грозные голоса: казалось, кричали со всех сторон, ибо северные кенсингтонцы мгновенно заплутались – чужая сторона, да еще в темноте, тут же обернулась темным лесом.

– Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! – кричали невидимки, и захватчиков разила насмерть черная сталь, впотымах потерявшая блеск.

---

<sup>48</sup> *Кромвель* Оливер (1599-1658) – лорд-протектор Англии с 1653 по 1658 г.

\* \* \*

Контуженный протазаном Бак злобно силился сохранить соображение. Он поискал стену неверной рукой – и наконец нашел ее. Потом ощупью, срывая ногти, добрался по стенке до проулка и увел туда остаток отряда. Приключения их в ту бредовую ночь не поддаются описанию. Они не знали, куда идут – навстречу неприятелю или бегут от него. А не зная, где они сами, смешно было бы спрашивать, куда делась остальная армия. Ибо на Лондон обрушилась давным-давно забытая дозвездная темнота, и они потерялись в ней, точно до сотворения звезд. Черный час шел за часом, и они вдруг сталкивались с живыми людьми, и те убивали их, а они тоже убивали с бешеной яростью. Когда наконец забрезжил серый рассвет, оказалось, что их отбросили на Аксбридж-роуд. И еще оказалось, что, встречаясь вслепую, северные кенсингтонцы, бейзуотерцы и западные кенсингтонцы снова и снова крошили друг друга, а тем временем Уэйн занял круговую оборону в Насосном переулке.

## Глава II КОРРЕСПОНДЕНТ «ПРИДВОРНОГО ЛЕТОПИСЦА»

В те будущие, благочинные и благонадежные, баркеровские времена журналистика, в числе прочего, сделалась вялым и довольно никчемным занятием: во-первых, не стало ни партий, ни ораторства; во-вторых, с полнейшим прекращением войн упразднились дела иностранные; в последних же и в главных – вся нация заболотилась и подернулась ряской. Из оставшихся газет, пожалуй, известней других был «Придворный летописец», запыленная редакция которого помещалась в миленьком особнячке на задворках Кенсингтон-Хай-стрит. Когда все газеты, как одна, год от года становятся зануднее, степеннее и жизнерадостнее, то главенствует самая занудная, самая степенная и самая жизнерадостная из них. И в этом газетном соревновании к концу XX века победил «Придворный летописец».

По какой-то таинственной причине король был завсегдаем редакции «Придворного летописца»: он обычно выкуривал там первую утреннюю сигарету и рылся в подшивках. Как всякий заядлый лентяй, он пуще всего любил болтаться и трепаться там, где люди более или менее работают. Однако и в тогдашней прозаической Англии он все же мог бы сыскать местечко пооживленной.

Но в это утро он шел от Кенсингтонского дворца бодрым шагом и с чрезвычайно деловым видом. На нем был непомерно длинный сюртук, бледно-зеленый жилет, пышный и весьма degage <sup>49</sup> черный галстук и чрезвычайно желтые перчатки: форма командира им самим учрежденного Первого Его Величества Полка Зеленоватых Декадентов. Муштровал он их так, что любо-дорого было смотреть. Он быстро прошел по аллее, еще быстрее – по Хай-стрит, на ходу закурил сигарету и распахнул дверь редакции «Придворного летописца».

– Вы слышали новости, Палли, вы новости знаете? – спросил он.

Редактора звали Хоскинс, но король называл его Палли, сокращая таким образом полное наименование – Паладин Свобод Небывалых.

– Ну как, Ваше Величество, – медленно отвечал Хоскинс (у него был устало-интеллигентный вид, жидкая каштановая борода), – ну, вы знаете, Ваше Величество, до меня доходили любопытные слухи, но я...

– Сейчас до вас дойдут слухи еще любопытнее, – сказал король, исполнив, но не до конца, негритянскую пляску. – Еще куда любопытнее, да-да, уверяю вас, о мой громогласный трибун. Знаете, что я намерен с вами сделать?

– Нет, не знаю, Ваше Величество, – ответил Паладин, по-видимому, растерявшись.

---

<sup>49</sup> Небрежно повязанный (фр. )

– Я намерен сделать вашу газету яростной, смелой, предприимчивой,– объявил король.– Ну-ка, где ваши афиши вчерашних боевых действий?

– Я, собственно, Ваше Величество,– промямлил редактор, – и не собирался особенно афишировать...

– Бумаги мне, бумаги! – вдохновенно воскликнул король.– Несите мне бумаженцию с дом величиной. Уж я вам афиш понаделаю. Погодите-ка, надобно снять сюртук.

Он весьма церемонно снял его – и набросил на голову мистеру Хоскинсу – тот скрылся под сюртуком – и оглядел самого себя в зеркале.

– Сюртук долой,– сказал он,– а цилиндр оставить. Как есть помощник редактора. По сути дела, именно в таком виде редактору и можно помочь. Где вы там,– продолжал он, обернувшись, – и где бумага?

Паладин к этому времени выбрался из-под королевского сюртука и смущенно сказал:

– Боюсь, Ваше Величество...

– Ох, нет у вас хватки,– сказал Оберон.– Что это там за рулон в углу? Обои? Обставяете собственное неприкосновенное жилище? Искусство на дому, а, Палли? Ну-ка, сюда их, я такое нарисую, что вы и в гостиной-то у себя станете клеить обои рисунком к стене.

И король развернул по всему полу обойный рулон.

– Ножницы давайте,– крикнул он и взял их сам, прежде чем тот успел пошевелиться.

Он разрезал обои примерно на пять кусков, каждый величиною с дверь. Потом схватил большой синий карандаш, встал на колени, подстелив замызганную клеенку, и огромными буквами написал:

**НОВОСТИ С ФРОНТА.  
ГЕНЕРАЛ БАК РАЗГРОМЛЕН.  
СМУТА, СТРАХ И СМЕРТЬ.  
УЭЙН ОКОПАЛСЯ В НАСОСНОМ.  
ГОРОДСКИЕ СЛУХИ.**

Он поразмыслил над афишей, склонив голову набок, и со вздохом поднялся на ноги.

– Нет, как-то жидковато,– сказал он,– не встревожит, пожалуй. Я хочу, чтобы «Придворный летописец» внушал страх заодно с любовью. Попробуем что-нибудь покрепче.

Он снова опустился на колени, посасывая карандаш, потом принялся деловито выписывать литеры.

– А если вот так? – сказал он.-

**УЭЙН УБИВАЕТ В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ?**

Ну ведь нельзя же,– сказал он, умоляюще прикусив карандаш,– нельзя же написать «у их во тьме»? «Уэйн убивает у их в кромешной тьме»? Нет, нет, нельзя: дешевка. Надо шлифовать слог, Палли, шлифовать, шлифовать и шлифовать! Вот как надо:

**УДАЛЕЦ УЭЙН.  
КРОВАВАЯ БОЙНЯ В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ  
*Затмились светила на тверди фонарной.<sup>50</sup>***

---

<sup>50</sup> *Затмились светила на тверди фонарной.* – Ироническая парафраза библейской цитаты: Быт., 1, 14-15; Дан., 12, 3 и Отк., 8, 12.

(Эх, хорошо у нас Библия переведена!) Что бы еще такое измыслить? А вот сыпанем-ка мы соли на хвост бесценному Баку! – и он приписал, на всякий случай помельче:

*«По слухам, генерал Бак предан военно-полевному суду».*

– Для начала неплохо, – сказал он и повернул обойные листы узором кверху. – Попрошу клейстеру.

С застывшим выражением ужаса на лице Паладин принес клейстер из другой комнаты.

Король принялся размазывать его по обоям – радостно, как грязнуля-младенец, опрокинувший банку патоки. Потом он схватил в обе руки по обойному листу и побежал наклеивать их на фасад, где повиднее.

– Ну-с, – сказал Оберон, вернувшись и бурля по-прежнему, – а теперь – за передовую!

Он расстелил на столе обрезки обоев, вытащил авторучку и начал лихорадочно и размашисто писать, перечитывая вслух написанное и смакуя фразы, словно глотки вина, – есть букет или нет букета?

– Вести о сокрушительном поражении наших вооруженных сил в Ноттинг-Хилле, как это ни ужасно – как это ни ужасно – (нет! как это ни прискорбно) – может быть, и ко благу, поскольку они привлекают внимание к такой-сякой халатности (ну, разумеется, к безобразной халатности) нашего правительства. Судя по всему, было бы преждевременным (ай да оборот!) – да, было бы преждевременным в чем бы то ни было винить генерала Бака, чьи подвиги на бесчисленных полях брани (ха-ха!), чьи боевые шрамы и заслуженные лавры дают ему полное право на снисходительность, чтоб не сказать больше. Есть другой виновник, и настало время сказать о нем в полный голос. Слишком долго молчали мы – то ли из ложной щепетильности, то ли из ложной лояльности. Подобная ситуация никогда не могла бы возникнуть, если бы не королевская политика, которую смело назовем nepозволительной. Нам больно писать это, однако же, отстаивая интересы общественности (краду у Баркера: никуда не денешься от его исторического высказывания), мы не должны шараться при мысли о том, что будет задета личность, хотя бы и самая высокопоставленная. И в этот роковой для нашей страны час народ единогласно вопрошает: «А где же король?» Чем он занят в то время, когда его подданные, горожане великого города, крошат друг друга на куски? Может быть, его забавы и развлечения (не будем притворяться, будто они нам неизвестны) столь поглотили его, что он и не помышляет о гибнущей нации? Движимые глубоким чувством ответственности, мы предупреждаем это высокопоставленное лицо, что ни высокое положение, ни несравненные дарования не спасут его в лихую годину от судьбы всех тех, кого, ослепленных роскошью или тиранией, постиг неотвратимый народный гнев, ибо английский народ нелегко разгневать, но в гневе он страшен.

– Вот так, – сказал король, – а теперь опишу-ка я битву пером очевидца.

Он схватил новый лист обоев в тот самый миг, когда в редакцию вошел Бак с перевязанной головой.

– Мне сказали, – заявил он с обычной неуклюжей учтивостью, – что Ваше Величество находитесь здесь.

– Скажите пожалуйста, – восторженно воскликнул король, – вот он и очевидец! Или, вернее, оковидец, ибо я не без грусти замечаю, что вы смотрите на мир одним оком. Вы нам напишете отчет о битве, а, Бак? Вы владеете газетным слогом?

Сдержанный до вежливости Бак счел за благо не обращать внимания на королевское бессовестное дружелюбие.

– Я позволил себе, Ваше Величество, – коротко сказал он, – пригласить сюда мистера Баркера.

И точно, не успел он договорить, как на пороге возник Баркер: он, по обыкновению, куда-то торопился.

– Теперь-то в чем дело? – облегченно вздохнув и поворачиваясь к нему, спросил Бак.

– Бои продолжаются, – сказал Баркер. – Четыре западно-кенсингтонские сотни почти

невредимы: они к побоищу не приближались. Зато бейзуотерцев Уилсона – тех здорово порубали. Но они и сами рубились на славу: что говорить, даже Насосный переулоч заняли. Ну и дела на свете творятся: это ж подумать, что из всех нас один замухрышка Уилсон с его рыжими баками оказался на высоте!

Король быстро черкнул на обойной бумаге:

*«Геройские подвиги мистера Уилсона».*

– Н-да,– сказал Бак,– а мы-то чванились перед ним правильным произношением.

Внезапно король свернул, не то скомкал клоч обоев и запихал его в карман.

– Возникла мысль,– сказал он.– Я сам буду очевидцем. Я вам такие буду писать репортажи с передовой, что перед ними померкнет действительность. Подайте мне сюртук, Паладин. Я вошел сюда простым королем Англии, а выхожу специальным военным корреспондентом<sup>51</sup> «Придворного летописца». Бесплезно удерживать меня, Палли; не обнимайте моих колен, Бак; напрасно вы, Баркер, будете рыдать у меня на груди. «По зову долга...» – конец этой замечательной фразы вылетел у меня из головы. Первый репортаж получите сегодня вечером, с восьмичасовой почтой.

И, выбежав из редакции, он на полном ходу вскочил в синий бейзуотерский омнибус.

– Да-а, – угрюмо протянул Баркер,– вот такие дела.

– Баркер, – сказал Бак,– может, политика и выше бизнеса, зато война с бизнесом, как я понял ночью, очень даже накоротке. Вы, политики,– такие отпетые демагоги, что даже и при деспотии, как огня, боитесь общественного мнения. Привыкли цап и бежать, а чуть что – отступаетесь. Мы же вцепляемся мертвой хваткой. И учимся на ошибках. Да поймите же! В этот самый миг мы уже победили Уэйна!

– Уже победили Уэйна? – недоуменным эхом отозвался Баркер.

– Еще бы нет! – вскричал Бак с выразительным жестом.– Вы поймите: да, я сказал прошлой ночью, что, коли мы заняли девять подходов, они у нас в руках. Ну, я ошибся: то есть они были бы в наших руках, но вмешалось непредвиденное происшествие – погасли фонари. А то бы все сладилось как надо. Но вы не заметили, о мой великолепный Баркер, что с тех пор произошло еще кое-что?

– Нет – а что? – спросил Баркер.

– Вы только представьте себе – солнце взошло! – с нечеловеческим терпением разъяснил Бак.– Почему бы нам снова не занять все подступы и не двинуться на них? Это еще на восходе солнца надо было сделать, да меня чертов доктор не выпускал. Вы командовали, вам и надо было.

Баркер мрачно улыбнулся.

– С превеликим удовольствием сообщаю вам, дорогой Бак, что мы это ваше намерение в точности осуществили. Едва рассвело, как мы устремились со всех девяти сторон. К несчастью, пока мы лупили друг друга впотьмах, как пьяные землекопы, мистер Уэйн со товарищи даром времени отнюдь не теряли. За три сотни ярдов от Насосного переулоча все девять подходов преграждены баррикадами высотой с дом. К нашему прибытию они как раз достраивали последнюю, на Пембридж-роуд. Учимся на ошибках! – горько воскликнул он и бросил на пол окурок.– Это они учатся, а не мы.

С минуту оба молчали; Баркер устало откинулся в кресле. Резко тикали настенные часы. И Баркер вдруг сказал:

– Послушайте, Бак, а вам не приходит в голову, что это все как-то чересчур? Отличная была идея – соединить трассой Хаммер-смит и Мейд-Вейл, и мы с вами рассчитывали на изрядный куш. Но нынче – стоит ли оно того? Ведь на подавление этого дурацкого мятежа уйдут многие тысячи. Может, пусть их дурачатся дальше?

– Ну да: и расписаться в поражении, в том, что верх над нами взял этот рыжий остолоп,

---

<sup>51</sup> *...выхожу специальным военным корреспондентом.* – Намек на К.-Ф.-Г. Мастермена, издателя газеты «Дейли Ньюс», друга и коллегу Честертонa, военного корреспондента во время англо-бурской войны.

которого любые два врача немедленно отправили бы в лечебницу<sup>52</sup>? – воскликнул Бак, вскакивая на ноги. – Еще чего не предложите ли, мистер Баркер? Может, уж заодно извиниться перед великолепным мистером Уэйном? Преклонить колена перед Хартией предместий? Приложиться к хоругви с Красным Львом, а потом перелобызать священные фонари, спасшие Ноттинг-Хилл? Нет, Богом клянусь! Мои ребята здорово дрались – их не победили, а провели за нос. И они из рук оружия не выпустят – до победы!

– Бак, – сказал Баркер, – я всегда вами восхищался. И вчера вы тоже все правильно говорили.

– Про что я вчера говорил правильно?

– Про то, – отвечал Баркер, медленно поднявшись, – что вы выпали из своей стихии и попали в стихию Адама Уэйна. Друг мой, земные владения Адама Уэйна простираются не далее девяти улиц, запертых баррикадами. Но его духовное владычество простерлось куда как далеко – и здесь, в редакции, оно очень чувствуется. Рыжий остолоп, которого любые два врача немедленно запрут в лечебницу, заполняет эту вот комнату своим бредом и безрассудством. И последние ваши слова – это ведь он говорит вашими устами.

Бак ничего не ответил и отошел к окну.

– Словом, – сказал он наконец, – вы сами понимаете – и речи быть не может о том, чтобы я отступился от своего.

\* \* \*

А король между тем поспешал на передовую на крыше синего омнибуса. Бурные события последних дней лондонскому сообщению особенно не помешали: в Ноттинг-Хилле беспорядки, район захвачен бандой мятежников – и его попросту объезжали. Синие омнибусы огибали его, будто там ведутся строительные работы: точно так же свернул на углу бейзуотерской Квинз-роуд и тот омнибус, на котором восседал специальный корреспондент «Придворного летописца».

Король сидел наверху один-одинешенек и восхищался бешеной скоростью продвижения.

– Вперед, мой красавец, мой верный скакун, – говорил он, ласково похлопывая омнибус по боку, – резвей тебя нет во всей Аравии! Вот интересно: водитель твой так же ли холит тебя, как своего коня бедуйн? Спите ли вы с ним бок о бок или...

Но его размышления были прерваны: омнибус внезапно и резко остановился. Король поглядел и увидел сверху, как лошадей отпрягают люди в алых хламидах; и услышал распорядительные команды.

Засим король Оберон с превеликим достоинством сошел с крыши омнибуса. Наряд или пикет алых алебардчиков, остановивших омнибус, насчитывал не более двадцати человек; командовал ими чернявый молодой офицерик, непохожий на остальных: он был в обычном черном сюртуке, но препоясан алым кушаком с прицепленной длинной шпагой семнадцатого века.

Лоснистый цилиндр и очки самым приятным образом довершали его наряд.

– С кем имею честь? – спросил король, стараясь, вопреки невозможности, явить собой подобие Карла Первого.

Чернявый офицерик в очках приподнял цилиндр не менее чинно.

– Моя фамилия Баулз, – сказал он. – Я – аптекарь. И под моей командой состоит энская рота армии Ноттинг-Хилла. Крайне прискорбно, что я вынужден остановить омнибус и прервать ваше путешествие, однако же, согласно вывешенной прокламации, мы останавливаем всех проезжающих. Смею ли полюбопытствовать, с кем имею честь... О

---

<sup>52</sup> ...любые два врача немедленно отправили бы в лечебницу. – В Англии времен Честертона достаточно было подписи двух врачей, чтобы человека признали сумасшедшим.

Боже мой, прошу прощения у Вашего Величества. Я польщен и восхищен, что имею дело с самим королем.

Оберон простер длань с несказанным величием.

– Не с королем, нет,– заявил он,– вы имеете дело со специальным военным корреспондентом «Придворного летописца».

– Прошу прощения у Вашего Величества,– с большим сомнением сказал мистер Баулз.

– Вы по-прежнему именуете меня Величеством? А я повторяю,– твердо сказал Оберон,– что я здесь в качестве представителя прессы. Как нельзя более ответственно заявляю, что меня зовут – как бы вы думали? – Пинкер<sup>53</sup>. Над своим прошлым я опускаю занавес.

– Как скажете, сэр,– сказал мистер Баулз, покоряясь,– мы чтим прессу не менее, нежели трон. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы весь мир узнал о наших обидах и наших дерзаниях. Вы не против, мистер Пинкер, если я вас представлю лорд-мэру и генералу Тернбуллу?

– С лорд-мэром мы уже имели удовольствие познакомиться, – небрежно заметил Оберон.– Наш брат матерый журналист всюду, вы знаете, вхож. Однако я со своей стороны был бы не прочь, что называется, возобновить знакомство. А с генералом Тернбуллом не худо бы повидаться впервые. Люблю молодежь! А то мы, старики с Флит-стрит, как-то, бывает, Отрываемся от жизни.

– Вы не будете так любезны проследовать вон туда? – осведомился командир энской роты.

– Я буду любезен и так, и этак,– отвечивал мистер Пинкер.– Ведите.

### Глава III ВОИНСТВО ЮЖНОГО КЕНСИНГТОНА

Специальный корреспондент «Придворного летописца» прислал, как обещался, в тот же вечер стопку шершавых листов черного блокнота, покрытых королевскими каракулями,– по три слова на страницу, и ни одно не разберешь. А начало статьи и вовсе ставило в тупик: абзацы, один за другим, были перечеркнуты. Видимо, автор подбирал нужный слог. Возле одного абзаца было написано на полях: «Попробуем на американский манер», а сам абзац начинался так:

«Королю не место на троне. Нам нужны люди напористые. Оно, конечно, болтовня, она...» На этом абзац обрывался, и приписано было: «Нет уж, лучше добротнo, по старинке. Ну-ка...»

Добротнo и по старинке получалось так:

«Величайший из английских поэтов заметил, что роза, как бы...»

И этот пассаж обрывался. Дальше на полях было написано что-то совсем уж неразборчивое, примерно такое: «А что, ежели по стопам старика Стивенса ловчить слово за словом, а? Вот, например:

Утро устало подмигивало мне из-за крутого склона Кампденского холма и тамошних домов в четком теневом обрамленьe. Серая тень огромного черного квадрата мешает различать цвета, однако же я наконец увидел в тумане какое-то коричневато-желтое передвижение и понял, что это движутся ратники Свиндона, армия Западного Кенсингтона. Их держали в резерве, они охраняли склон над Бейзуотер-роуд. Главные силы их расположились в тени Водонапорной башни на Кампденском холме. Забыл сказать: Водонапорная башня выглядит как-то зловеще.

Я миновал их и, свернув излучиной Силвер-стрит, увидел густо-синее воинство

---

<sup>53</sup> ...меня зовут... Пинкер. – Возможно, намек на Аллана Пинкертонa (1819-1884), американского сыщика и героя детективных рассказов, положивших начало «массовому чтиву» XX столетия.

Баркера, заслонившее выходы на шоссе, словно облако сапфирного дыма (хорошо!). Расположение союзных войск под общим командованием мистера Уилсона приблизительно таково: желтяки (да не обидятся на меня за это слово западные кенсингтонцы) узкой полоской пересекают холм с запада на восток – от Кампден-Хилл-роуд до начала Кенсингтон-Гарденз. Изумрудцы Уилсона облегли Ноттинг-Хилл-Хай-роуд от Квинз-роуд до самого угла Пембридж-роуд и дальше за угол еще ярдов на триста по направлению к Уэстборн-Гроув. А уж Уэстборн-Гроув блокируют южные кенсингтонцы Баркера. И наконец четвертая сторона этого неровного четырехугольника со стороны Квинз-роуд занята лиловыми бойцами Бака.

Все это вместе взятое напоминает старинную, изящную голландскую клумбу. На гребне холма – золотые крокусы Западного Кенсингтона. Они служат, так сказать, огневой закраиной. С севера напирает темно-синий Баркер, теснятся его несчетные гиацинты. А там, к юго-западу, простирается зеленая поросль бейзуотерцев Уилсона, и далее – гряда лиловых ирисов (из коих крупнейший – сам мистер Бак) завершает композицию. А серебристый отблеск извне... (Нет, я теряю слог, надо было написать, что «дальше за угол» – «великолепным витком». И гиацинты надо было назвать «внезапными». Мне этот слог не по силам. Он ломается под напором войны. Будьте добры, отдайте статью рассыльному, пусть выправит слог.) А по правде-то говоря, сообщать особенно не о чем: тусклая обыденщина, всегда готовая пожрать всю красоту мира (как Черная Свинья в ирландской мифологии в конце концов слопаёт звезды и всех богов); так вот обыденщина, подобно Черной Свинье<sup>54</sup>, сожрала всю жидкую романтическую поросль: еще вчера были возможны нелепые, но волнующие уличные стычки, а сегодня война принижена до самого прозаического предела – она превратилась в осаду. Осаду можно определить как мир со всеми военными неудобствами. Конечно же, Уэйн осады не выдержит. Помощи со стороны ему не будет – равно как и кораблей с Луны. Если бы старина Уэйн набил до отказа свой Насосный переулочек консервами и уселся на них – а он, увы, так и сделал: там, говорят, и повернуться негде, – что толку? Ну, продержатся месяц-другой, а там припасу конец, изволь сдаваться на милость победителя, и ломаный грош цена всем твоим прежним подвигам, не стоило и утруждаться. Как это, право, неталантливо со стороны Уэйна!

Но странное дело: обреченные чем-то притягательны. Я всегда питал слабость к Уэйну, а теперь, когда я точно знаю, что его песенка спета, в мыслях у меня один сплошной Уэйн. Все улицы указывают на него, все трубы кренятся в его сторону. Какое-то болезненное чувство: этот его Насосный переулочек я прямо-таки физически ощущаю. Ей-богу, болезненно – будто сердце сдает. «Насосный переулочек» – а что же сердце, как не насос? Это я распускаю слюни.

Лучший наш военачальник – разумеется, генерал Уилсон. В отличие от прочих лорд-мэров он облачился в форму алебардчика – жаль, этот дивный костюм шестнадцатого века не очень идет к его рыжим бакенбардам. Это он, сломив героическое сопротивление, вломился прошлой ночью в Насосный переулочек и целых полчаса его удерживал. Потом его выбил оттуда генерал Тернбулл, но рубились отчаянно, и кто знает, чья бы взяла, если бы не обрушилась темень, столь губительная для ратников генерала Бака и генерала Свиндона.

Лорд-мэр Уэйн, с которым мне довелось иметь любопытнейшую беседу, воздал должное доблести генерала Уилсона в следующих красноречивых выражениях: «Я впервые купил леденцы в его лавочке четырех лет от роду и с тех пор был его постоянным покупателем. Стыдно признаться, но я замечал лишь, что он гнусавит и не слишком часто умывается. А он шутя перемахнул нашу баррикаду и низринулся на нас, точно дьявол из пекла». Я повторил этот отзыв с некоторыми купюрами самому генералу Уилсону, и тот, похоже, остался им доволен. Впрочем, по-настоящему он доволен разве что мечом, которым

---

<sup>54</sup> *Черная Свинья в ирландской мифологии.* – Точнее: вепрь; почитался у кельтов как священное животное.



не преминул препоясаться. Из надежных источников мне стало известно, что побрит он более чем небрежно. В военных кругах полагают, что он отращивает усы...

Как я уже сообщил, сообщать не о чем. Усталым шагом бреду я к почтовому ящику на углу Пембридж-роуд. Ровным счетом ничего не происходит: готовятся к длительной и вялой осаде, и вероятно, я в это время на фронте не понадоблюсь. Вот я гляжу на Пембридж-роуд, а сумерки сгущаются: по этому поводу мне припомнилось еще кое-что. Хитроумный генерал Бак присоветовал генералу Уилсону, дабы не повторилась вчерашняя катастрофа (я имею в виду всего лишь коварную темень), повесить на шею каждому воину зажженный фонарь. За что я перед генералом Баком преклоняюсь, так это за так называемое «смирение человека науки», за готовность без устали учиться на своих ошибках. Тут он даст Уэйну сто очков вперед. Вереница огоньков на Пембридж-роуд похожа на гирлянду китайских фонариков.

**Позднее.** Писать мне затруднительно: все лицо в крови, и боюсь испачкать бумагу. Кровь очень красива, поэтому ее и скрывают. Если вы спросите, отчего мое лицо в крови, я отвечу вам, что меня лягнул конь. А если вы спросите, что еще за конь, я не без гордости отвечу: это боевой конь. Если же вы, не унявшись, поинтересуетесь, откуда на пехотной войне взялся боевой конь, то я вынужден буду исполнить тягостный долг военного корреспондента и рассказать о том, что случилось.

Как было сказано, я собирался бросить корреспонденцию в почтовый ящик и взглянул на огнистую излучину Пембридж-роуд, на бейзуотерские фонарики. И замешкался: вереница огней в буроватых сумерках словно бы потускнела. Я был почти уверен, что там, где только что горело пять огоньков, теперь горят четыре. Я вгляделся, пересчитал их: их стало три – два – один, и все огоньки вблизи вдруг заплясали, как колокольчики на сбруе. Они вспыхивали и гасли: казалось, это меркнут светила небесные, и вот-вот воцарится первозданная темнота. На самом-то деле еще даже не стемнело: дотлевал рдяный закат, рассеивая по небу как бы каминные отсветы. Для меня, однако же, три долгих мгновения темнота была полная. В четвертое мгновение я понял, что небо мне заслоняет всадник на огромной лошади; на меня наехала и отбросила к тротуару черная кавалькада, вылетевшая из-за угла. Они свернули влево, и я увидел, что они вовсе не черные, они алые: это была вылазка осажденных во главе с Уэйном.

Я выбрался из канавы: рана, хоть и пустяковая, обильно кровоточила, но мне все это было как-то нипочем. Отряд проскакал, настала мертвая тишина; потом набежали алебардчики Баркера – они со всех ног гнались за конниками. Их-то заставу и опрокинула вылазка, но уж чего-чего, а кавалерии они не ожидали, и можно ли их за это винить? Да если на то пошло, Баркер и его молодцы едва не нагнали конников: еще бы немного, и ухватили бы лошадей за хвосты.

К чему сей сон – никто не понимает. И вылазка-то малочисленная – Тернбулл с войском остался за баррикадами. История знает подобные примеры: скажем, во время осады Парижа в 1870-м<sup>55</sup> – но ведь тогда осажденные надеялись на помощь извне. А этим на что надеяться? Уэйн знает (а если он вконец свихнулся, так знает Тернбулл), что здравомыслящие лондонцы единодушно презирают его шутовской патриотизм, как и породившее его дурачество нашего жалкого монарха. Словом, все в полном недоумении; многие думают, что Уэйн попросту предатель, что он бросил осажденных на произвол судьбы. Загадки загадками, они постепенно разъяснятся, а вот чего уж никак не понять, так это откуда у них взялись лошади?

**Позднее.** Мне рассказали удивительную историю о том, откуда они взялись. Оказывается, генерал Тернбулл, этот сногшибательный военачальник, а ныне, в отсутствие Уэйна, властелин Насосного переулка, поутру в день объявления войны собрал ораву уличных мальчишек (по-нашему, по-газетному – херувимов сточных канав), раздал им по

---

<sup>55</sup> ...во время осады Парижа в 1870-м. – Речь идет о кульминационном эпизоде франко-прусской войны, когда войска фельдмаршала Мольтке осадили Париж и взяли в плен Наполеона III.

полкроны и, разослав их во все концы Лондона, велел возвращаться на извозчиках. Едва ли не сто шестьдесят кебов съехались в Ноттинг-Хилл, да там и остались: извозчиков отпустили, пролетками забаррикадировали улицы, а лошадей свели в Насосный переулок, превращенный в конюшню и манеж; вот они и сгодились для этой безумной вылазки. Сведения самые достоверные; теперь все ясно, кроме главного – зачем вылазка?

За углом баркеровцев властно остановили, но не враги, а рыжий Уилсон, который стремглав бежал им навстречу, размахивая вырванной у часового алебардой. Баркер с дружиною ошеломленно повиновался: как-никак главнокомандующий! Сумеречную улицу огласила громкая и отчетливая команда – даже не верилось, что у такого тщедушного человечка может быть такой зычный голос: «Стойте, южные кенсингтонцы! Стерегите на всякий случай этот проход. Их я беру на себя. Бойцы Бейзуотера, вперед!»

Меня отделяла от Уилсона двойная темно-синяя шеренга и целый лес протазанов; но из-за этой живой изгороди слышны были четкие приказы и бряцанье оружия, виднелась зеленая дружина, устремившаяся в погоню. Да, это наши чудо-богатыри: Уилсон зажег их сердца своей отвагой, и они за день-другой стали ветеранами. На груди у каждого поблескивал серебряный значок-насос: они побывали в логове врага.

Кенсингтонцы остались стоять, преграждая Пембридж-роуд, а я помчался следом за наступающими и вскоре нагнал их задние ряды. Сумерки сгустились, и я почти ничего не видел, только слышал тяжкий маршевый шаг. Потом раздался общий крик, рослые воины, пятась, спотыкались об меня, снова заплясали фонарики, и лошади, фыркая в лицо, разбрасывали людей по сторонам. Они, стало быть, развернулись и атаковали нас.

– Болваны! – прокричал холодный и гневный голос Уилсона, мигом смиривший панику. – Вы что, не видите? Кони-то без всадников!

В самом деле, смяли нас лошади без седоков. Что бы это значило? Может, Уэйна уже разгромили? Или это новая военная хитрость, на которые он, как известно, горазд? А может быть, они там все переоделись и попрятались по домам?

Никогда еще не бывал я так восхищен ничьей смекалкой (даже своей собственной), как восхитился уилсоновской. Он молча указал протазаном на южную сторону улицы. Знаете ведь, какие крутые проулки, чуть не лестницы, ведут на вершину холма: так вот, мы были возле самого крутого, возле Обри-роуд. Взбежать по нему нетрудно; куда труднее взвести необученных лошадей.

– Левое плечо вперед! – скомандовал Уилсон. – Вон их куда понесло, – сообщил он мне, оказавшемуся рядом.

– Зачем? – отважился я спросить.

– Да кто их знает, – отвечал бейзуотерский генерал. – Но, видать, очень спешили – потому и спешили. Вроде понятно: они хотят прорваться в Кенсингтон или Хаммерсмит – и нанесли удар здесь, на стыке армий. Им бы, дуракам, взять чуть подальше: глядишь, и обошли бы нашу последнюю заставу. Ламберт отсюда ярдов за четыреста; правда, я его предупредил.

– Ламберт! – воскликнул я. – Уж не Уилфрид ли Ламберт, мой однокорытник?

– Уилфрид Ламберт его зовут, это уж точно, – отвечал генерал, – повеса из повес, эдакий длинноносый обалдуй. Дурням вроде него на войне самое место, тут они при деле. И Ламберт хорош, грех жаловаться. Эти желтяки, западные кенсингтонцы, – не войско, а сущее охвостье. Он привел их в божеский вид, хотя сам под началом у Суиндона – ну, тот попросту осел. А Ламберт давеча показал себя – в атаке с Пембридж-роуд.

– Он еще раньше показал себя, – сказал я. – Он ополчился на мое чувство юмора. Это был его первый бой.

Мое замечание, увы, пропало попусту: командир союзных войск его не понял. Мы в это время взбирались по Обри-роуд, на кручу, похожую на старинную карту с нарисованными деревцами. Немного пыхтя, мы наконец одолели подъем и едва свернули в улочку под названием Подбашенная Креси, словно бы предвосхитившим наши нынешние рукопашные битвы, как вдруг получили в поддых (иначе не знаю, как и сказать): нас чуть не смела вниз

гурьба ноттингхилльцев – в крови и грязи, с обломками алебард.

– Да это же старина Ламберт! – заорал дотоле невозмутимый повелитель Бейзуотера.– Черт его подери, ну и хват! Он уже здесь! Он их на нас гонит! Урра! Урра! Вперед, бейзуотерцы!

Мы ринулись за угол, и впереди всех бежал Уилсон, размахивая алебардой, она же протазан...

А можно, я немного о себе? Пожалуй, можно,– тем более что ничего особенно лестного, а даже слегка и постыдное. Впрочем, скорее забавное: вот ведь какой мы, журналисты, впечатлительный народ! Казалось бы, я с головой погружен в поток захватывающих событий; и однако же, когда мы обогнули угол, мне первым делом бросилось в глаза то, что не имеет никакого отношения к нынешней войне. Я был поражен, точно черной молнией с небес, высотой Водонапорной башни. Не знаю, замечают ли обычно лондонцы, какая она высокая, если внезапно выйти к самому ее подножию. На миг мне показалось, что подле этой громады все людские распри – просто пустяки. На один миг, не более – но я чувствовал себя так, будто захмелел на какой-то попойке, и меня вдруг отрезвила эта надвинувшаяся гигантская тень. И почти тут же я понял, что у подножия этой башни свершается то, что долговечней камня и головокружительней любой высоты – свершается человеческое действие, а по сравнению с ним эта огромная башня – сушая пустяковина, всего-навсего каменный отросток, который род людской может переломить как спичку.

Впрочем, не знаю, чего я разболтался про эту дурацкую, обшарпанную Водонапорную башню: она идет к делу самое большее как задник декорации – правда, задник внушительный, и мрачно-то обрисовались на нем наши фигуры. Но главная причина, должно быть, в том, что в сознании моем как бы столкнулись каменная башня и живой человек. Ибо стряхнув с себя, так сказать, тень башни, я сразу же увидел человека, и человека мне очень знакомого.

Ламберт стоял на дальнем углу подбашенной улицы, отчетливо видный при свете восходящей луны. Он был великолепен – герой, да и только, но я – то углядел кое-что поинтересней героизма. Дело в том, что он стоял почти в той же самодовольной позе, в какой запомнился мне около пятнадцати лет назад, когда он воинственно взмахнул тростью, вызываясь воткнул ее в землю и сказал мне, что все мои изыски – просто околесица. И ей-богу же, тогда ему на это требовалось больше мужества, чем теперь – на ратные подвиги. Ибо тогда его противник победно восходил на вершину власти и славы. А сейчас он добивает (хоть и с риском для жизни) врага поверженного, обреченного и жалкого – какой жалкой и обреченной была эта вылазка навстречу гибели! Нынче никому невдомек, что победное чувство – это целых полдела. Тогда он напал на растленного, однако же победительного Квина; теперь – сокрушает вдохновенного, но полуизничтоженного Уэйна.

Имя его возвращает меня на поле брани. Случилось вот что: колонна алых алебардщиков двигалась по улице у северной стены – низовой дамбы, ограждающей башню,– и тут из-за угла на них ринулись желтые кенсингтонцы Ламберта, смяли их и отшвырнули нестойких, как я уже описал, прямо к нам в объятия. И когда мы ударили на них с тыла, стало ясно, что с Уэйном покончено. Его любимца – бравого цирюльника – сшибли с ног, бакалейщика контузили. Уэйн и сам был ранен в ногу и отброшен к стене. Они угодили в челюсти капкана.

– Ага, подоспели? – радостно крикнул Ламберт Уилсону через головы окруженных ноттингхилльцев.

– Давай, давай! – отозвался генерал Уилсон.– Прижимай их к стене!

Ратники Ноттинг-Хилла падали один за другим. Адам Уэйн ухватился длинными ручищами за верх стены, подтянулся и вспрыгнул на нее: его гигантскую фигуру ярко озаряла луна. Он выхватил хоругвь у знаменосца под стеной и взмахнул ею: она с шумом зареяла над головами, точно раскатился небесный гром

– Сожмемся вокруг Красного Льва! – воскликнул он.– Выставим острия мечей и жала

алебард – это шипы на стебле розы!

Его громовой голос и плеск знамени мгновенно взбудрили ноттингхилльцев, и почуяв это, Ламберт, чья идиотская физиономия была едва ли не прекрасна в упоении битвы, заорал:

– Брось свою кабацкую вывеску, дуралей! Бросай сейчас же!

– Хоругвь Красного Льва редко склоняется, – горделиво ответил Уэйн, и вновь зашумело на ветру развернутое знамя. На этот раз любовь к театральным жестам могла дорого обойтись бедняге Адаму: Ламберт вспрыгнул на стену со шпагой в зубах, и клинок свистнул возле уха Уэйна прежде, чем тот успел обнажить меч – руки-то у него были заняты тяжелым знаменем. Он едва успел отступить и уклониться от выпада; древко с длинным острием поникло почти к ногам Ламберта.

– Знамя склонилось! – громогласно воскликнул Уэйн. – Знамя Ноттинг-Хилла склонилось перед героем!

С этими словами он пронзил Ламберта насквозь и стряхнул его тело с древка знамени вниз, с глухим стуком грянулось оно о камни мостовой.

– Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! – неистово, как одержимый, восклицал Уэйн. – Наше знамя освящено кровью отважного врага! Ко мне, на стену, патриоты! Все сюда, на стену! Ноттинг-Хилл!

Его длинная могучая рука протянулась кому-то на помощь, и на озаренной луной стене возник второй силуэт, за ним еще и еще; одни забирались сами, других втаскивали, и вскоре израненные, полуживые защитники Насосного переулка кое-как взгромоздились на стену.

– Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! – неустанно восклицал Уэйн.

– А чем хуже Бейзуотер? – сердито крикнул почтенный мастеровой из дружины Уилсона. – Да здравствует Бейзуотер!

– Мы победили! – возгласил Уэйн, ударив оземь древком знамени. – Да здравствует Бейзуотер! Мы научили наших врагов патриотизму!

– Ох, да перебить их всех, и дело с концом! – выкрикнул офицер из отряда Ламберта почти в панике: ему ведь надо было принимать команду.

– Попробуем, если получится, – мрачно сказал Уилсон, и оба войска накинудись на третье.

\* \* \*

Я просто не берусь описывать, что было дальше. Прошу прощения, но меня одолевает усталость, мне тошно, да вдобавок еще и ужас берет. Замечу лишь, что предыдущий кусок я дописал часов в 11 вечера, сейчас около двух ночи, а битва все длится, и конца ей не видно. Да, вот еще что: по крутым проулкам, от Водонапорной башни к Ноттинг-Хилл-Хай-роуд красными змеями вьются кровавые ручьи; там, на широкой улице, они сливаются в огромную лужу, сверкающую под луной.

**Позднее.** Ну вот, близится конец всей этой жуткой бессмыслице. Минуло несколько часов, настало утро, а люди все мечутся и рубятся у подножия башни и за углом, на Обри-роуд; битва не кончилась. Но смысла в ней нет ни малейшего.

В свете новых известий ясно, что и отчаянная вылазка Уэйна, и отчаянное упорство его бойцов, ночь напролет сражавшихся на стене у Водонапорной башни, – все это было попусту. И наверно, мы никогда не узнаем, с чего это вдруг осажденные выбрались погибать – по той простой причине, что еще через два-три часа их перебьют всех до последнего.

Минуты три назад мне сообщили, что Бак, собственно, уже выиграл войну: победила его деловая сметка. Он, конечно, был прав, что переулку с городом не тягаться. Мы-то думали, он торчит на восточных подступах со своим лиловым войском; мы-то бегали по улицам, размахивая алебардами и потрясая фонарями; бедняга Уилсон мудрил, как Мольтке<sup>56</sup>, и бился, как Ахиллес; а мистер Бак, суконщик на покое, тем временем разъезжал

---

<sup>56</sup> ...мудрил, как Мольтке. – Имеется в виду прусский фельдмаршал Хельмут фон Мольтке (1800-1891),

в пролетке и обстригал дельце проще простого: долго ли умеючи? Он съездил в Южный Кенсингтон, Бромптон и Фулем, израсходовал около четырех тысяч фунтов собственных денег и снарядил почти четырехтысячную армию, которая может шутя раздавить не только Уэйна, но и всех его нынешних противников. Армия, как я понимаю, расположилась на Кенсингтон-Хай-стрит, заняв ее от собора до моста на Аддисон-роуд. Она будет наступать на север десятью колоннами.

Не хочу я больше здесь оставаться. Глаза бы мои на все это не глядели. Холм озарен рассветом; в небе раскрываются серебряные окна в золотистых рамах. Ужасно: Уэйна и его ратников рассвет словно бодрит, на их бледных, окровавленных лицах появляется проблеск надежды... невыносимо трогательно. Еще ужаснее, что сейчас они берут верх. Если бы не новое полчище Бака, они могли бы – пусть ненадолго – оказаться победителями.

Повторяю, это непереносимо. Точно смотришь эту пьесу старика Метерлинка<sup>57</sup> (люблю я жизнерадостных декадентов XIX века!), где персонажи безмятежно беседуют в гостиной, а зрители знают, какой ужас подстерегает их за дверями. Только еще тягостней, потому что люди не беседуют, а истекают кровью и падают замертво, не ведая, что бьются и гибнут зря, что все уже решено и дело их проиграно. Серые людские толпы сшибаются, теснят друг друга, колышутся и растекаются вокруг серой каменной громады; а башня недвижна и пребудет недвижной. Этих людей истребят еще до захода солнца; на их место придут другие – и будут истреблены, и обновится ложь, и заново отягощает над миром тирания, и новая низость заполонит землю. А каменная башня будет все так же выситься и, неживая, свысока взирать на безумцев, приемлющих смерть, и на еще худших безумцев, приемлющих жизнь».

На этом обрывался первый и последний репортаж специального корреспондента «Придворного летописца», отосланный в сию почтенную газету.

А корреспондент, расстроенный и угнетенный известием о торжестве Бака, уныло побрел вниз по крутой Обри-роуд, по которой накануне так бодро взбегал, и вышел на широкую, по-рассветному пустынную улицу. Без особой надежды на кеб он огляделся: кеба не было, зато издали быстро приближалось, сверкая на солнце, что-то синее с золотом, похожее на огромного жука; король удивился и узнал Баркера.

– Слыхали хорошие новости? – спросил тот.

– Да, – отвечал Квин ровным голосом, – да, меня уже успели порадовать. Может, возьмем извозчика до Кенсингтона? Вон, кажется, едет.

Не прошло и пяти минут, как они выехали навстречу несметной и непобедимой армии. Квин по дороге не обмолвился ни словом, и Баркер, чуя неладное, тоже помалкивал.

Великая армия шествовала по Кенсингтон-Хай-стрит, а изо всех окон высывались головы, ибо тогдашние лондонцы в жизни своей не видывали такого огромного войска. Это полчище, которое возглавлял Бак и к которому пристроился король-журналист, разом упраздняло все проблемы. И красные ноттингхилльцы, и зеленые бейзуотерцы превращались в копошащихся насекомых, а вся война за Насосный переулочек становилась суматохой в муравейнике под копытом вола. При одном взгляде на эту человеческую машину всякому было ясно, что грубая арифметика Бака наконец взяла свое. Прав был Уэйн или нет, умник он или дуралей – об этом теперь можно было спорить, это уже отошло в историю. В конце Соборной улицы, возле Кенсингтонского собора воинство остановилось; командиры были в отличнейшем настроении.

---

начальник генштаба прусской армии; его боевые операции отличались тщательной и продуманной тактикой.

<sup>57</sup> *...точно смотришь эту пьесу старика Метерлинка.* – Пьесы бельгийца Мориса Метерлинка (1862-1949) пользовались неслыханной популярностью в Англии девятисотых годов. О Метерлинке Честертон писал в эссе «Споры о Диккенсе» (сб. «Вкус к жизни»), «Могильщик» (сб. «Безумие и ученость») и некоторых других.

– Вышлем-ка мы к ним, что ли, вестника или там глашатая,– предложил Бак, обращаясь к Баркеру и королю.– Пусть живенько сдаются – нечего канителиться.

– А что мы им скажем? – с некоторым сомнением спросил Баркер.

– Да сообщим голые факты, и все тут,– отозвался Бак.– Армии капитулируют перед лицом голых фактов. Просто-напросто напомним, что покамест их армия и наши, вместе взятые, насчитывали примерно тысячу человек. И скажем, что у нас прибавилось четыре тысячи. Чего тут мудрить? Из прежней тысячи бойцов ихних самое большее – триста, так что теперь им противостоит четыре тысячи семьсот человек. Хотят – пусть дерутся,– и лорд-мэр Северного Кенсингтона расхохотался.

Глашатая снарядили со всей пышностью: он был в синей хламиде с тремя золотыми птахами; его сопровождали два трубача.

– Как, интересно, они будут сдаваться? – спросил Баркер, чтобы хоть что-то сказать: все огромное войско внезапно притихло.

– Я Уэйна знаю как облупленного,– смеясь, сказал Бак.– Он придет к нам алого глашатая с ноттингхилльским Львом на хламиде. Кто-кто, а Уэйн не упустит случая капитулировать романтически, по всем правилам.

Король, стоявший рядом с ним в начале шеренги, нарушил свое долгое молчание.

– Не удивлюсь,– сказал он,– если Уэйн, вопреки вашим ожиданиям, никакого глашатая не пришлет. Вряд ли вы так уж хорошо его знаете.

– Что ж, Ваше Величество,– снизошел к нему Бак,– тогда не извольте обижаться, коли я переведу свой политический расчет на язык цифр. Ставлю десять фунтов против шиллинга, что вот-вот явится глашатай и возвестит о сдаче.

– Идет,– сказал Оберон.– Может, я и не прав, но как я понимаю Адама Уэйна, он ляжет костями, защищая свой город, и пока не ляжет, покоя вам не будет.

– Заметано, Ваше Величество,– сказал Бак.

И снова все смолкли в ожидании; Баркер нервно расхаживал перед строем замершего воинства. Внезапно Бак подался вперед

– Готовьте денежки, Ваше Величество,– сказал он.– Я же вам говорил! Вон он – глашатай Адама Уэйна.

– Ничего подобного! – воскликнул король, приглядываясь.– Врете вы, это красный омнибус.

– Нет, не омнибус,– спокойно возразил Бак, и король смолчал, ибо сомнений не оставалось: посредине широкой, пустынной улицы шествовал глашатай с Красным Львом на хламиде и два трубача.

Бак умел, когда надо, проявлять великодушие. А в час своего торжества ему хотелось выглядеть великодушным и перед Уэйном, которым он по-своему восхищался, и перед королем, которого только что осрамил на людях, и в особенности перед Баркером, номинальным главнокомандующим великой армии, хоть она и возникла его, Бака, стараниями.

– Генерал Баркер,– сказал он, поклонившись, – угодно ли вам выслушать посланца осажденных?

Баркер поклонился в свою очередь и выступил навстречу глашатаю.

– Получил ли ваш лорд-мэр, мистер Адам Уэйн, наше требование капитуляции? – спросил он.

Глашатай ответствовал утвердительно, степенным и учтивым наклоном головы.

Баркер кашлянул и продолжал более сурово:

– И каков же ответ лорда-мэра?

Глашатай снова почтительно склонил голову и отвечал, размеренно и монотонно:

– Мне поручено передать следующее: Адам Уэйн, лорд-мэр Ноттинг-Хилла, согласно хартии короля Оберона и всем установлениям, божеским и человеческим, свободного и суверенного града, приветствует Джеймса Баркера, лорд-мэра Южного Кенсингтона, согласно тем же установлениям, града свободного, досточтимого и суверенного. Со всем

дружественным почтением и во исполнение законов Джеймсу Баркеру, а равно и всему войску под его началом, предлагается немедленно сложить оружие.

Еще не отзвучали эти слова, как король с сияющими глазами радостно вырвался вперед, на пустую площадь. Остальные – и командиры, и рядовые воины – онемели от изумления. Придя в себя, они разразились неудержимым хохотом – вот уж чего никто не ожидал!

– Лорд-мэр Ноттинг-Хилла, – продолжал глашатай, – отнюдь не намерен после вашей капитуляции использовать свою победу в целях утеснений, подобных тем, какие претерпел сам. Он оставит в неприкосновенности ваши законы и границы, ваши знамена и правительства. Он не покусится на религию Южного Кенсингтона и не станет попирать древние обычаи Бейзуотера.

И опять содрогнулся от хохота строй великой армии.

– Не иначе как король к этому руку приложил, – заметил Бак, хлопнув себя по ляжке. – До такого нахальства надо додуматься. Баркер, давайте-ка выпьем по стакану вина.

Вконец развеселившись, он и правда послал алебардщика в ресторанчик напротив собора; подали два стакана, и дело было за тостом.

Когда хохот утих, глашатай столь же монотонно продолжал:

– В случае капитуляции, сдачи оружия и роспуска армии под нашим наблюдением все ваши суверенные права вам гарантируются. Если же вы не пожелаете сдаться, то лорд-мэр Ноттинг-Хилла доводит до вашего сведения, что он полностью захватил Водонапорную башню и что ровно через десять минут, то есть получив или не получив от меня известие о вашем отказе, он откроет шлюзы главного водохранилища, и низина, в которой вы находитесь, окажется на глубине тридцати футов. Боже, храни короля Оберона<sup>58</sup>!

Бак уронил стакан, и лужа вина растекалась по мостовой.

– Но... но... – проговорил он и, заново призвав на помощь все свое великолепное здравомыслие, посмотрел правде в глаза.

– Надо сдаваться, – сказал он. – Если на нас через десять минут обрушатся пятьдесят тысяч тонн воды, то деваться некуда. Надо сдаваться. Тут уж все равно, четыре нас тысячи или четыре человека. Ты победил, Галилеянин<sup>59</sup>! Перкинс, налейте мне стакан вина.

Таким образом сдалась несметная рать Южного Кенсингтона и началось владычество Ноттинг-Хилла. Надо еще, пожалуй, упомянуть вот о чем: Адам Уэйн приказал облицевать Водонапорную башню золотом и начертать на ней эпитафию, гласящую, что это – постамент памятника Уилфреду Ламберту, павшему здесь смертью храбрых; сам же памятник под облаками не очень удался: у живого Ламберта нос был куда длиннее.

## Книга пятая

### Глава I

### ВЛАДЫЧЕСТВО НОТТИНГ-ХИЛЛА

Вечером третьего октября, через двадцать с лишним лет после великой победы Ноттинг-Хилла, которая принесла ему главенство над Лондоном, король Оберон вышел, как бывало, из Кенсингтонского дворца.

Он мало изменился, только в волосах проглянули седые пряди; а лицо у него всегда

---

<sup>58</sup> *Боже, храни короля Оберона!* – Ироническая парафраза первой строки британского гимна («Боже, храни короля!»).

<sup>59</sup> *Ты победил, Галилеянин!* – Слова, приписываемые императору Юлиану (332-363), прозванному Отступником.

было старообразное, походка медлительная, шаткая. Выглядел он древним стариком вовсе не потому, что одряхлел умом или телом, а из-за того, что упорно держался допотопной моды – носил сюртук и цилиндр.

– Я пережил потоп, – говаривал он. – Я сохраняюсь как пирамида.

Кенсингтонцы в своих живописных синих нарядах почтительно приветствовали короля и качали головами ему вслед: ну и чудно же одевались в старину!

Король, шаркая сверх всякой меры (друзьям было велено заглазно называть его «Старинушка Оберон»), доковылял до Южных ворот Ноттинг-Хилла и постоял перед ними. Всего ворот было девять: огромные створки из стали и бронзы покрывали барельефы – картины былых сражений работы самого Чиффи.

– Эх-хо-хо! – покряхтел он, трясая головой. – В мое время ничего этого и в помине-то, помнится, не было.

Вошел он через Оссингтонские ворота, украшенные медно-красным Львом на желтой латуни и девизом «Никто тут не хил» Красно-золотой страж отсалютовал ему алебардой.

Вечерело; на улицах зажигали фонари. Оберон полюбовался ими; глаз знатока радовала эта, может быть, лучшая работа Чиффи. В память о Великой Фонарной битве каждый чугунный фонарь был увенчан изваянием: ратник с мечом и в плаще держал над пламенем колпак, как бы всегда готовый опустить его, если в город снова вторгнутся недруги с юга или с запада. И дети, играя на улицах Ноттинг-Хилла, вспоминали рассказы о том, как их родной город спасся от вражеского нашествия.

– Старина Уэйн был в своем роде прав, – заметил король – Меч действительно преобразует: мир переполнился романтикой. А меня-то, эх, считали шутом: вообразится же, мол, такое – романтический Ноттинг-Хилл! Батюшки светы! (или «охти мне» – как лучше?) – это надо же! Слово из другой жизни.

Свернув за угол, он попал в Насосный переулок и оказался перед четырьмя домиками, перед которыми двадцать лет назад расхаживал в раздумье Адам Уэйн. От нечего делать он зашел в бакалейную лавку мистера Мида. Хозяин ее постарел, как и весь мир; окладистая рыжая борода и пышные усы поседели и поблекли. Синий, коричневый и красный цвета его длинной ризы сочетались по-восточному замысловато; она была расшита иероглифами и картинками, изображавшими, как бакалейные товары переходят из рук в руки, от нации к нации. На шее у него, на цепочке висел бирюзовый корабль, знак сана: он был Великим Магистром Бакалейщиков. Лавка не уступала хозяину своим сумрачным великолепием. Все товары были на виду, как и встарь, но теперь они были разложены с толком и вкусом, со вниманием к цвету – бакалейщик прежних дней нашел бы тут, чему поучиться. Никакой торгашеской назойливости; выставка товаров казалась прекрасной, умело подобранной коллекцией тонкого знатока. Чай хранился в больших синих и зеленых вазах; на них были начертаны девять необходимых изречений китайских мудрецов. Другие вазы, оранжево-лиловые, не столь строгие и чопорные, более скромные и более таинственные, содержали индийский чай. В серебристых ларцах предлагались покупателю консервы, и на каждом ларце была простая, но изящная чеканка: раковина, рога, рыба или яблоко – внятное для взора пояснение.

– Ваше Величество, – сказал мистер Мид, склонившись с восточной учтивостью. – Великая честь для меня, но еще большая – для нашего города.

Оберон снял цилиндр.

– Мистер Мид, – сказал он, – у вас в Ноттинг-Хилле только и слышно, что о чести: то вы ее оказываете, то вам ее воздают. А вот есть ли у вас, к примеру, лакрица?

– Лакрица, сэръ, – отвечивал мистер Мид, – это драгоценное достояние темных недр Аравии, и она у нас есть.

Плавным жестом указал он на серебристо-зеленый сосуд в форме арабской мечети; затем неспешно приблизился к нему.

– Не знаю уж почему, – задумчиво произнес король, – но что-то нынче не идут у меня из головы дела двадцатилетней Давности. Вы как, мистер Мид, помните довоенные времена?



Завернув лакричные палочки в вощеную бумажку с подобающей надписью, бакалейщик устремил отуманенные воспоминанием большие серые глаза в окно, на вечернее небо

– О, да, Ваше Величество, – молвил он. – Я помню эти улицы до начала правления нашего лорда-мэра. Не помню только, почему мы жили, будто так и надо. Сраженья и песенная память о сраженьях – они, конечно, все изменили, и не оценить, сколь многим обязаны мы лорд-мэру; но вот я вспоминаю, как он зашел ко мне в лавку двадцать два года назад, вспоминаю, что он говорил. И представьте себе, тогда мне его слова вроде бы показались диковинными. Теперь-то наоборот – я не могу надивиться тому, что говорил я: говорил, точно бредил.

– Вот так, да? – сказал король, глядя на него более чем спокойно.

– Я тогда ничего не смыслил в бакалейном деле, – продолжал тот – Ну не диковинно ли это? Я и знать не знал, откуда взялись мои товары, как их изготовили. Я и ведать не ведал, что по сути дела я – властелин, рассылающий рабов гарпунить рыб в неведомых водоемах и собирать плоды на незнаемых островах. Ничего этого в голове у меня не было: ни дать ни взять умалишенный.

Король тоже обернулся и взглянул в темное окно, за которым уже зажглись фонари, напоминавшие о великой битве.

– Выходит, крышка бедняге Уэйну? – сказал он сам себе. – Воспламенил он всех кругом, а сам пропал в отблесках пламени Это ли твоя победа, о мой несравненный Уэйн, – что ты стал одним из несчетных уэйнов? Затем ли ты побеждал, чтобы затеряться в толпе? Чего доброго, мистер Мид, бакалейщик, затмит тебя красноречием. Чудны дела твои, Господи! – не стоит и с ума сходить: оглядишься – а кругом такие же сумасшедшие!

В раздумье он вышел из лавки и остановился у следующей витрины – точь-в-точь, как лорд-мэр два десятилетия назад.

– Ух ты, как жутковато! – сказал он – Только жуть какая-то заманчивая, обнадеживающая. Похоже на страшную детскую сказку: мурашки ползут по спине, а все-таки знаешь, что все кончится хорошо. Фронтон-то, фронтон! острый, низкий – ну прямо черный нетопырь крылья сложил! а эти чаши как странно светятся – вурдалачьи глаза, да и только. А все ж таки похоже на пещеру доброго колдуна: по всему видать, аптека.

Тут-то и показался в дверях мистер Баулз: на нем была черная бархатная мантия с капюшоном, вроде бы и монашеская, но отчасти сатанинская. Он был по-прежнему темноволос, а лицо стало бледнее прежнего. На груди его вспыхивала самоцветная звезда – знак принадлежности к Ордену Красного Огня Милосердия, ночного светила врачей и фармацевтов.

– Дивный вечер, сэра, – сказал аптекарь. – Но позвольте, как мог я не узнать сразу Ваше Величество! Заходите, прошу вас, разопьем бутылочку салициловой или чего-нибудь другого, что вам по вкусу. Кстати же, ко мне как раз наведался старинный приятель Вашего Величества: он, с позволения сказать, смакует этот целебный напиток.

Король вошел в аптеку, словно в сказочную пещеру, озаренную переливчатой игрой оттенков и полутонов: аптечные товары богаче цветами, нежели бакалейные, и сочетание их было здесь еще причудливее и утонченнее. Никогда еще подобный, так сказать, фармацевтический букет не предлагался глазу ценителя.

Но даже это таинственное многоцветье ночной аптеки не скрадывало пышности фигуры у стойки; напротив, блекло перед нею. Высокий, статный мужчина был в синем бархатном костюме с прорезьями, как на портретах Возрождения; в прорезях сквозила ярко-лимонная желтизна. Орденские цепи висели у него на шее; а золотисто-бронзовые перья на его шляпе были так длинны, что достигали золотого эфеса длинного меча, что висел у него при бедре. Он отпивал из бокала салициловой и любовался на свет ее опаловым сияньем. Лицо его скрывала тень; король недоуменно приблизился и воскликнул:

– Пресвятой Боже, да это вы, Баркер!

Тот снял пышно оперенную шляпу, и король увидел ту же темную шевелюру и

длинную лошадиную физиономию, которая, бывало, виднелась над высоким чиновничьим воротничком. На висках пробилась седина, а в остальном изменений не было: Баркер был как Баркер.

– Ваше Величество, – сказал он, – при виде вас в душе моей оживает славное прошлое, осиянное золотистым октябрьским светом. Пью за дни былые, – с чувством проговорил он и духом осушил свой бокал.

– Отрадно вас видеть снова, Баркер, – отозвался король. – Давненько мы не встречались. Я, знаете, путешествовал по Малой Азии, писал книгу (вы читали мою «Жизнь викторианского мужа в изложении для детей»?) – словом, раза всего два мы с вами виделись после Великой войны.

– Вы позволите, – немного замялся Баркер, – можно говорить с Вашим Величеством напрямик?

– Чего уж там, – разрешил Оберон, – время позднее, разговор приватный. В добрый час, мой буревестник!

– Так вот, Ваше Величество, – промолвил Баркер, понизив голос. – Думается, мы – на пороге новой войны.

– Это как? – спросил Оберон.

– Мы этого ига больше не потерпим! – негодуяще выкрикнул Баркер. – Мы не стали рабами оттого, что Адам Уэйн двадцать лет назад обвел нас вокруг пальца. На Ноттинг-Хилле свет не клином сошелся. Мы в Южном Кенсингтоне тоже не беспамятные – и у нас есть свои упования. Если они отстояли несколько фонарей и лавчонок – неужели же мы не постоим за нашу Хай-стрит и священный Музей естественной истории?

– Силы небесные! – промолвил потрясенный Оберон. – Будет ли конец чудесам? А это уж чудо из чудес – вы, значит, теперь угнетенный, а Уэйн – угнетатель? Вы – патриот, а он – тиран?

– Корень зла отнюдь не в самом Уэйне, – возразил Баркер. – Он большей частью сидит у камина с мечом на коленях, погруженный в мечтания. Не он тиран, а Ноттинг-Хилл. Здешние советники и здешняя чернь так приохотились насаждать повсеместно старые замыслы и проекты Уэйна, что они всюду суют нос, всем указывают, всех нороят переkreить на свой лад. Я не спорю, та давнишняя война, казалось бы, и нелепая, необычайно оживила общественную жизнь. Она разразилась, когда я был еще молод, и – согласен – открыла передо мной новые горизонты. Но мы больше не желаем сносить ежедневные и ежечасные глумления и придирки лишь потому, что Уэйн четверть века назад нам в чем-то помог. Я здесь дожидаюсь важных новостей. Говорят, Ноттинг-Хилл запретил открытие памятника генералу Уилсону на Чепстоу-Плейс. Если это действительно так, то это прямое и вопиющее нарушение условий, на которых мы сдались Тернбуллу после битвы у Башни. Это – посягательство на наши обычаи и самоуправление. Если это действительно так...

– Это действительно так, – подтвердил глубокий бас, и собеседники обернулись.

В дверях стояла плотная фигура в лиловом облачении, с серебряным орлом на шее; усы его спорили пышностью с плюмажем.

– Да, да, – сказал он в ответ на изумленный взор короля, – я – лорд-мэр Бак, а слухи – верны. Здешний сброд забыл, что мы дрались у Башни не хуже их и что иной раз не только подло, но и опрометчиво оскорблять побежденных.

– Выйдем отсюда, – сказал посуровевший Баркер.

Они вышли на крыльцо вслед за Баком; тот обводил ненавистным взглядом ярко освещенную улицу.

– Хотел бы я своей рукой смести это все с лица земли, – прорычал он, – хоть мне и под семьдесят. Уж я бы...

Вдруг он страшно вскрикнул и отшатнулся, прижав ладони к глазам, в точности как на этих же улицах двадцать лет назад.

– Темнота! – вскрикнул он. – Опять темнота! Что это значит?

И правда, все фонари в переулке погасли, и при свете витрины они еле-еле различали силуэты друг друга. Из черноты послышался неожиданно радостный голос аптекаря.

– А, вы и не знали? – сказал тот. – Вас разве не предупредили, что сегодня – Праздник Фонарей, годовщина Великой битвы, когда Ноттинг-Хилл едва не сгинул и был спасен едва ли не чудом? Вы разве не знаете, Ваше Величество, что в ту ночь, двадцать один год назад, мы увидели, как по нашему переулку мчатся яростные, будто исчадия ада, зеленые алебардчики Уилсона, а горстка наших, с Уэйном и Тернбуллом, отступает к газовому заводу? Тогда, в тот роковой час, Уэйн запрыгнул в заводское окно и одним могучим ударом погрузил город во тьму – а потом, издав львиный рык, слышный за несколько кварталов, ринулся с мечом в руках на растерявшихся бейзуотерцев – и очистил от врага наш священный переулок. Вы разве не знаете, что в эту ночь каждый год на полчаса гасят фонари и мы поем в темноте гимн Ноттинг-Хилла? Слушайте! Вот – начинают.

В темноте раскатился глухой барабанный бой, и мощный хор мужских голосов завел:

Содрогнулся мир, и свет померк и погас,  
Свет померк и погас в тот ночной, ненадежный час,  
Когда враг вступал в Ноттинг-Хилл, погруженный в сон,  
Накатил океанской волной и накрыл с головою он –  
Мрак, спасительный мрак, когда враг был со всех сторон  
И ратники Ноттинг-Хилла расслышали трубный глас,  
И стала их знаменем эта черная мгла,  
И прежде, чем стяг их поникнет, звезды сгорят дотла  
Ибо в час, когда в Переулке послышалась вражья речь,  
Когда рушилась крепость и преломился меч –  
Почернела ночь и склубилась, точно Господень смерч –  
Ратники Ноттинг-Хилла расслышали трубный глас. 60

Голоса затянули вторую строфу, но ее прервала суматоха и яростный вопль. Баркер выхватил кинжал и прыгнул с крыльца в темноту с кличем: «Южный Кенсингтон!»

Во мгновение ока заполненный народом переулок огласился проклятьями и лязгом оружия. Баркера отшвырнули назад, к витрине; он перехватил кинжал в левую руку, обнажил меч и кинулся на толпу, выкрикнув: «Мне вас не впервой рубить!» Кого-то он и правда зарубил или приколол: раздались крики, в полутьме засверкали ножи и мечи. Баркера снова оттеснили, но тут подоспел Бак. При нем не было оружия; в отличие от Баркера, который из чопорного фата стал фатом драчливым, он сделался мирным, осанистым бургером. Но он разбил кулаком витрину лавки древностей, схватил самурайский меч и, восклицая «Кенсингтон! Кенсингтон!», кинулся на подмогу.

Меч Баркера сломался; он отмахивался кинжалом. Его сшибли с ног, но подбежавший Бак уложил нападающего, и Баркер снова вскочил с залитым кровью лицом.

Внезапно все крики перекрыл могучий голос; казалось, он слышался с небес. Но Бака, Баркера и короля испугало не это – они знали, что небеса пусты; страшней было то, что голос был им знаком, хотя они давно его не слышали.

– Зажгите фонари! – повелел голос из поднебесья; в ответ раздался смутный ропот

– Именем Ноттинг-Хилла и Совета Старейшин Города, зажгите фонари!

Снова ропот, минутная заминка – и вдруг переулок осветился нестерпимо ярко: все фонари зажглись разом. На балконе под крышей самого высокого дома стоял Адам Уэйн; его рыжую с проседью гриву ворошил ветер.

– Что с тобою, народ мой? – вымолвил он. – Неужели едва мы достигаем благой цели, как она тут же являет свою оборотную сторону? Гордая слава Ноттинг-Хилла, достигшего

независимости, окрыляла мой ум и согревала сердце в долгие годы уединенного созерцания. Неужели же вам этого недостаточно – вам, увлеченным и захваченным бурями житейскими? Ноттинг-Хилл – это нация; зачем нам становиться простой империей? Вы хотите низвергнуть статую генерала Уилсона, которую бейзуотерцы по справедливости воздвигли на Уэстборн-Гроув. Глупцы! Разве Бейзуотер породил этот памятник? Его породил Ноттинг-Хилл. Разве не в том наша слава, наше высшее достижение, что благородный идеализм Ноттинг-Хилла вдохновляет другие города? Правда нашего противника – это наша победа. О, близорукие глупцы, зачем хотите вы уничтожить своих врагов? Вы уже сделали больше – вы их создали. Вы хотите низвергнуть огромный серебряный молот, который высится, как обелиск, посреди хаммерсмитского Бродвея. Глупцы! До того, как победил Ноттинг-Хилл, появился бы на хаммерсмитском Бродвее серебряный молот? Вы хотите убрать бронзового всадника вместе с декоративным бронзовым мостом в Найтсбридже? Глупцы! Кому бы пришло в голову воздвигнуть мост и статую, если бы не Ноттинг-Хилл? Я слышал даже, и болью это отдалось в моем сердце, что вы устремили завистливый взор далеко на запад и в своей имперской спеси требуете уничтожить великое черное изваяние Ворона, увенчанного короной – память о побоище в Рэвенскорт-Парке. Откуда взялись все эти памятники? Не наша ли слава создала их? Умались ли Афины оттого, что римляне и флорентийцы переняли афинское патриотическое красноречие? Неужто судьба Афин, судьба Назарета – скромный удел созидателей нового мира кажется вам недостойным? Умалится ли Назарет оттого, что миру были явлены многие такие же селеньица, о которых вопрошают спесивцы: может ли быть оттуда что доброе? Разве требовали афиняне, чтобы все облеклись в хитоны? Разве приверженцам Назорея должно было носить тюрбаны? Нет! но частица души Афин была в тех, кто твердой рукой подносил к губам чашу цикуты<sup>61</sup>, и частица души Назарета – в тех, кто радостно и твердо шел на распятие. Те, кто принял в себя частицу души Ноттинг-Хилла, постигли высокий удел горожанина. Мы создали свои символы и обряды; они создают свои – что за безумие препятствовать этому! Ноттинг-Хилл изначально прав: он искал себя и обретал, менялся по мере надобности, и менялся самостоятельно. Ноттинг-Хилл воздвигся как нация и как нация может рухнуть. Он сам решает свою судьбу. И если вы сами решите воевать из-за памятника генералу Уилсону...

Рев одобрения заглушил его слова; речь прервалась. Бледный, как смерть, великий патриот снова и снова пытался продолжать, но даже его влияние не могло унять беснующуюся уличную стихию. Его попросту не было слышно; и он, опечаленный, спустился из своей мансарды и отыскал в толпе генерала Тернбулла. С какой-то суровой лаской положив руку ему на плечо, он сказал:

– Завтра, мой друг, нас ждут свежие, неизведанные впечатления. Нас ждет разгром. Мы вместе сражались в трех битвах, но своеобразного восторга поражения мы не извели. Вот обменяться впечатленьями нам, увы, вряд ли удастся: скорее всего, как назло, мы оба будем убиты.

Смутное удивление выразилось на лице Тернбулла.

– Да убиты – это ничего, дело житейское, – сказал он, – но почему нас непременно ждет разгром?

– Ответ очень простой, – спокойно отозвался Уэйн. – Потому что мы ничего другого не заслужили. Бывали мы на волосок от гибели, но я твердо верил в нашу звезду, в то, что мы заслужили победу. А теперь я знаю так же твердо, что мы заслужили поражение: и у меня опускаются руки.

Проговорив это, Уэйн востропнулся: оба заметили, что им внимает человек с

---

<sup>61</sup> ...частица души Афин была в тех, кто твердой рукой подносил к губам чашу цикуты. – Речь идет о гибели Сократа (470– 399 гг. до н. э.), описанной в платоновском диалоге «Федон»: обвиненный афинскими властями в том, что он обирает и развращает молодежь, Сократ был приговорен к смертной казни; по легенде, он умер, выпив отвар цикуты.

круглыми любопытствующими глазами.

– Простите, милейший Уэйн,– вмешался король,– но вы и правда думаете, что завтра вас разобьют?

– Вне всякого сомнения,– отвечал Адам Уэйн,– я только что объяснил почему. Если угодно, есть и другое, сугубо практическое объяснение – их стократное превосходство. Все города в союзе против нас. Одно это, впрочем, дела бы не решило.

Совиные глаза Квина не смигнули; он настаивал:

– Нет, вы совершенно уверены, что вас должны разбить?

– Боюсь, что это неминуемо,– мрачно подтвердил Тернбулл.

– В таком случае,– воскликнул король, взмахнув руками, – давайте мне алебарду. Эй, кто-нибудь, алебарду мне! Призываю всех в свидетели, что я, Оберон, король Англии, отрекаюсь от престола и прошу лорд-мэра Ноттинг-Хилла зачислить меня в его лейб-гвардию. Живо, алебарду!

Он выхватил алебарду у растерявшегося стражника и, взяв ее на плечо, пристроился к колонне, шествовавшей по улице с воинственными кликами. Еще до рассвета памятник генералу Уилсону был низвергнут; впрочем, в этой акции король-алебардщик участия не принимал

## **Глава II ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА**

Под хмурыми небесами Уэйн повел свое войско на гибель в Кенсингтон-Гарденз; еще пуще нахмурилось небо, когда алых ратников обступили разноцветные полчища обновленного мира. В промежутке зловеще блеснуло солнце, и лорд-мэр Ноттинг-Хилла каким-то сторонним, безмятежным взором окинул расположение неприятеля: изумрудные, сапфирные и золотые прямоугольники и квадраты, точно вытканый на зеленом ковре чертеж к эвклидовой теореме. Но солнечный свет был жидкий, едва сочился и вскоре вовсе иссяк. Король попытался было расспрашивать Уэйна, как мыслится битва, однако же тот отвечал равнодушно и вяло. Он верно сказал накануне, что вместе с чувством нездешней правоты утратил все качества вождя. Он отстал от времени, ему непонятны были ни соглашения, ни раздоры враждующих империй, когда примерно один черт, кто виноват и кто прав. И все же, завидя короля, который чинно расхаживал в цилиндре и с алебардой, он немного посветлел.

– Что же, Ваше Величество,– сказал он,– вы-то, по крайней мере, можете нынче гордиться. Пусть ваши дети встали друг на друга, так или иначе ваши дети победят. Другие короли отправляли правосудие, а вы наделяли жизнью. Другие правила нацией, а вы нации создавали. Те скапливали земли, а вы порождали царства земные. Отец, взгляни на своих детей! – и он обвел рукой неприятельский стан.

Оберон не поднял глаз.

– Посмотрите же, как это великолепно! – воскликнул Уэйн. – Как подступают из-за реки новые города. Смотрите, вон Баттерси – под знаменем Блудного Пса; а Патни – видите Патни? – вот как раз солнце озарило их знамя, знамя Белого Оседланного Кабана! Настают новые времена, Ваше Величество. Ноттинг-Хилл не так себе владычествует: он, вроде Афин, порождает новый образ жизни, возвращает вселенной юность, наподобие Назарета. Помню, в былые, тусклые дни умники писали книги о сверхскоростных поездах, о всемирной империи и о том, как трамваи будут ездить на луну. Еще ребенком я говорил себе: «Нет, скорее уж снова мы все двинемся в крестовый поход или возобождем городские божества!» Так оно и случилось. И я этому рад, хотя это – моя последняя битва.

Его слова прервал скрежет и гул слева, и он радостно обернулся.

– Уилсон! – восторженно крикнул он. – Рыжий Уилсон громит наш левый фланг! Ему нет преграды: что ему мечи! Он – воин не хуже Тернбулла; только терпенья ему не хватает, вот потому и хуже. Ух ты! Баркер пошел в атаку. Баркер-то каков: залюбуешься! Перья

перьями, а вот ты попробуй оправдай свои перья! Ну!

Лязг и громыхание справа возвестили о том, что Баркер всею силою обрушился на ноттингхилльцев.

– Там Тернбулл! – крикнул Уэйн. – Контратакует – остановил? – отбросил! А слева дела плохи: Уилсон расколошматил Баулза и Мида, того и гляди сомнет. Гвардия лорд-мэра, к бою!

И центр стронулся: впереди сверкал меч и пламенела рыжая грива Уэйна. Король побежал следом; задние ряды содрогнулись – передние сшиблись с врагом. За лесом протазанов Оберон увидел стяг с лиловым орлом Северного Кенсингтона. Слева напирал Рыжий Уилсон: его зеленая фигурка мелькала повсюду, в самой гуще сечи появлялись огненные усы и лавровый венок. Баулз рубанул его по голове: посыпались лавровые листья, венок окровавился; взревев, как бык, Уилсон бросился на аптекаря, и после недолгого поединка тот пал, пронзенный мечом, с криком: «Ноттинг-Хилл!» Ноттингхилльцы дрогнули и уступили натиску зеленых воинов во главе с Уилсоном.

Зато справа Тернбулл громил ратников Баркера, и уже ясно было, что Золотые Птахи не выстоят против Красного Льва. Баркеровцы падали один за другим. В центре рубились, смешавшись, ратники Уэйна и Бака. Словом, сражение шло наравне, но сражались словно в насмешку. За спиною трех небольших ратей, с которыми схватились ратники Ноттинг-Хилла, стояло несметное союзное воинство: оттуда презрительно следили за схваткой. Им стоило только шевельнуться, чтобы шутя раздавить все четыре дружины.

Вдруг они всколыхнулись: в бой пошли пастухи Шепердс-Буша, в овчинах и с рогатинами, и свирепые, оголтелые паддингтонцы. Всколыхнулись они не даром: Бак яростно призывал их на подмогу; он был окружен, отрезан от своих. Остатки его дружины тонули в алом потоке ноттингхилльцев.

Союзники здорово проморгали. На их глазах Тернбулл наголову разгромил дружину Баркера; покончив с нею, старый опытный военачальник тут же развернул войско и атаковал Бака с тылу и с флангов. Уэйн крикнул громовым голосом «Вперед!» и ударил с фронта. Две трети северных кенсингтонцев изрубили в капусту прежде, чем подмога подоспела. Но потом нахлынуло море городов – знамена были точно буруны – и захлестнуло Ноттинг-Хилл на веки вечные. Битва не кончилась, ибо никто из ноттингхилльцев живым не сдавался: битва продолжалась до заката и после заката. Но все было решено – история Ноттинг-Хилла завершилась.

Увидевши это, Тернбулл на миг опустил меч и огляделся. Закатное солнце озарило его лицо: в нем был младенческий восторг.

– Юность не миновала меня, – сказал он. И, выхватив у кого-то бердыш, кинулся на рогатины Шепердс-Буша и принял смерть где-то в глубине взломанных рядов неприятеля. А битва все длилась и длилась; лишь к ночи добились последнего ноттингхилльца.

Один Уэйн стоял, прислонившись к могучему дубу. На него надвигались воины с бердышами. Один с размаху ударил; он отразил удар, но оскользнулся – и, протянув руку, ухватился за дерево.

К нему подскочил Баркер с мечом в руке, дрожа от возбуждения.

– Ну как, милорд, – крикнул он, – велик ли нынче Ноттинг-Хилл?

Уэйн улыбнулся; темнота сгущалась.

– Вот его границы, – сказал он, и меч его описал серебряный полукруг.

Баркер упал, обезглавленный; но на труп его по-кошачьи вспрыгнул Уилсон, и Уэйн отбил смертоносный меч. Позади послышались крики, мелькнул желтый стяг, и показались алебардщики Западного Кенсингтона, взбравшиеся на холм по колена в траве. Знамя несли впереди; сзади подбадривали криками.

Новый взмах меча Уэйна, казалось, покончил с Уилсоном; но взметнулся меч, и вместе с ним взметнулся Уилсон; меч его был сломан, и он, словно пес, метнулся к горлу Уэйна. Передовой желтый алебардщик занес секиру над его головой, но король со злобным проклятием раскроил ему череп и сам упал и покатился по склону; а тем временем

неистовый Уилсон, снова отброшенный, опять вскочил на ноги и опять бросился на Уэйна. Отскочил он с торжествующим смехом: в руке у него была орденская лента, знак отличия ноттингхилльского лорд-мэра. Он сорвал ее с груди, где она пребывала четверть века.

Западные кенсингтонцы с криками сгрудились вокруг Уэйна; желтое знамя колыхалось над его головой.

– Ну, и где же твоя лента, лорд-мэр? – воскликнул вожак западных кенсингтонцев. Вокруг захохотали.

Адам одним ударом меча сокрушил знаменосца и вырвал клоч поникшего желтого знамени. Алебарщик пырнул его в плечо: хлынула кровь.

– Вот желтый! – крикнул он, затыкая за пояс клоч знамени. – А вот, – указывая на окровавленное плечо, – вот и красный!

Между тем тяжелый удар алебарды уложил короля. Перед глазами его пронеслось видение давних времен, что-то виденное давным-давно, возле какого-то ресторана. Перед его меркнущими глазами сверкнули цвета Никарагуа – красный и желтый.

Квину не привелось увидеть, чем это все кончилось. Уилсон, вне себя от ярости, снова кинулся на Уэйна, и еще раз просвистел страшный меч Ноттинг-Хилла. Кругом втянули головы в плечи, а повелитель Бейзуотера превратился в кровавый обрубок, но и клинок, сокрушивший его, был сломан.

Страшное очарование исчезло; у самой рукояти сломался клинок. Уэйна прижали к дереву: нельзя было ни колоть алебардой, ни ударить мечом; враги сошлись грудь с грудью и даже ноздря к ноздре. Но Бак успел выхватить кинжал.

– Убить его! – крикнул он не своим, придушенным голосом. – Убить его! Какой он ни есть, он не наш! Не смотрите ему в лицо! Да Господи! Давно бы нам в лицо ему не смотреть! насмотрелись! – и он занес руку для удара, зажмурил глаза.

Уэйн по-прежнему держался за ветвь дуба; и грудь его, и вся его мощная фигура напряглась, словно горы в предвестии землетрясения. Этим страшным усилием он выломал, вырвал ветвь с древесными клочьями – и с размаху ударил ею Бака, сломав ему шею. И планировщик Великого Шоссе замертво рухнул ничком, стальной хваткой сжимая кинжал.

– Для тебя, и для меня, и для всех отважных, брат мой, – нараспев проговорил Уэйн, – много доброго, крепкого вина в том кабачке за гранью мироздания.

Толпа снова тяжело надвинулась на него; сражаться в темноте возможности не было. А он опять ухватился за дуб, на этот раз просунув руку в дупло, как бы цепляясь за самое нутро дерева. Толпа – человек тридцать – налегла на него, но оторвать его от дуба не смогла. Тишина стояла такая, точно здесь никого не было. Потом послышался какой-то слабый звук.

– Рука у него соскользнула! – в один голос воскликнули двое.

– Много вы понимаете, – проворчал третий (ветеран прошлой войны). – Скорее кости у него переломятся.

– Да нет, это не то. Господи, пронеси! – сказал один из тех двоих.

– А чего тогда? – спросил другой.

– Дерево падает, – ответил тот.

– Если упадет дерево, то там оно и останется, куда упадет<sup>62</sup>, – сказал из темноты голос Уэйна, и была в нем, как всегда, заманчиво-бредовая жуть, и звучал он издалека, из бывшего или из будущего, но уж никак не из настоящего. Что бы ни делал Уэйн, говорил он будто бы декламировал. – Если дерево упадет, там оно и останется, – сказал он. – Этот стих Екклезиаста считается мрачным; а я на него не нарадуюсь. Это апофеоз верности, и я остаюсь верен себе, срастаясь и сживаясь с тем, что стало моим. Да, пусть упадет, но, упавши, пребудет навечно. Глупы те, кто разъезжает по миру, пожирая глазами царства земные, либеральные и рассудительные космополиты, поддавшиеся дешевому искушению, презрительно отвергнутому Христом. Нет, я предпочел мудрость истинную, мудрость

---

<sup>62</sup> *Если упадет дерево, то там оно и останется.* – См.: Еккл., ii, 3.

ребенка, который выходит в сад и выбирает дерево себе во владение: и корни дерева нисходят в ад, а ветви протягиваются к звездам<sup>63</sup>. Я радуюсь, как влюбленный, для которого в мире нет ничего, кроме возлюбленной, как дикарь, которому, кроме своего идола, ничего на свете не надо. И мне ничего не надо, кроме моего Ноттинг-Хилла: здесь он, мой город, здесь и останется, куда упадет дерево.

При этих его словах земля вздыбилась, как живая, и клубком змей вывернулись наружу корни дуба. Его громадная крона, казавшаяся темно-зеленой тучей среди туч серых, помелом прошла по небу, и дерево рухнуло, опрокинулось, как корабль, погребая под собою всех и вся.

### Глава III ДВА ГОЛОСА

На несколько часов воцарилась кромешная тьма и полное безмолвие. Потом откуда-то из темноты прозвучал голос:

– Вот и конец владычеству Ноттинг-Хилла. И началось оно, и закончилось кровопролитием; все было, есть и пребудет всегда одинаково.

И снова настало молчание, и опять зазвучал голос, но зазвучал иначе; а может, это был другой голос.

– Если все всегда одинаково, то потому лишь, что в сущности все и всегда героично. Все всегда одинаково новое: каждому даруется душа, и каждой душе единожды даруется власть вознестись над звездами. Век за веком заново дается нам эта власть: видимо, источник ее неиссякаем. И все, отчего люди дряхлеют – будь то империя или торгашество, – все подло. А то, что возвращает юность – великая война или несбыточная любовь, – все благородно. Темнейшая из богодухновенных книг<sup>64</sup> дарит нас истиной под видом загадки. Люди устают от новизны – от новейших мод и прожектов, от улучшений и благотворных перемен. А все, что ведется издревле, – поражает и опьяняет. Издревле является юность. Всякий скептик чувствует, как дряхлы его сомнения. Всякий капризный богач знает, что ему не выдумать ничего нового. И обожатели перемен склоняют головы под гнетом вселенской усталости. А мы, не гонясь за новизной, остаемся в детстве – и сама природа заботится о том, чтобы мы не повзрослели. Ни один влюбленный не думает, что были влюбленные и до него. Ни одна мать, родив ребенка, не помышляет, что дети бывали и прежде. И тех, кто сражаются за свой город, не тяготит бремя рухнувших империй. Да, о темный голос, мир извечно одинаков, извечно оставаясь неожиданным.

Повеяло ночным ветерком, и первый голос отвечал:

– Но есть в этом мире и такие, дураки они или мудрецы, кого ничто не опьяняет, кому и все ваши невзгоды – что рой мошкар. Они-то знают, что хотя над Ноттинг-Хиллом смеются, а Иерусалим и Афины воспевают, однако же и Афины, и Иерусалим были жалкими местечками – такими же, как Ноттинг-Хилл. Они знают, что и земля тоже не Бог вещь какое местечко и что даже перемещаться-то по ней немножечко смешновато.

– То ли они зафилософствовались, то ли попросту одурели, – отозвался тот, другой голос. – Это не настоящие люди. Я же говорю, люди век от века радуются не затхлому прогрессу, а тому, что с каждым ребенком нарождается новое солнце и новая луна. Будь человечество нераздельно, оно бы давно уже рухнуло под бременем совокупной верности, под тяжестью общего героизма, под страшным гнетом человеческого достоинства. Но

---

<sup>63</sup> ...и корни дерева нисходят в ад, а ветви протягиваются к звездам. – Имеется в виду мировое древо скандинавской мифологии ясьень Иггдрасиль.

<sup>64</sup> ...темнейшая из богодухновенных книг. – Речь, вероятно, идет об Откровении Иоанна Богослова, наиболее эзотерической из книг Нового завета.



вышним произволением души людские так разобщены, что судят друг о друге вчуже, и на всех порознь нисходит счастливое озарение, мгновенное и яркое, как молния. А что все человеческие свершения обречены – так же не мешает делу, как не мешают ребенку играть на лужайке будущие черви в его будущей могиле. Ноттинг-Хилл низвержен; Ноттинг-Хилл погиб. Но не это главное. Главное, что Ноттинг-Хилл был.

– Но если, – возразил первый голос, – только всего и было, что обыденное прозябание, то зачем утруждаться, из-за чего гибнуть? Свершил ли Ноттинг-Хилл что-нибудь такое, что отличает его от любого крестьянского селения или дикарского племени? Что случилось бы с Ноттинг-Хиллом, будь мир иным, – это глубокий вопрос, но есть другой, поглубже. Что потеряло бы мироздание, не окажись в нем Ноттинг-Хилла?

– Оно понесло бы невозместимый урон, равно как если бы на любой яблоне уродилось шесть, а не семь яблок. Ничего вполне подобного Ноттинг-Хиллу до сей поры не было – и не будет до скончания веков. И я верую, что он был любезен Господу, как любезно ему все подлинное и неповторимое. Впрочем, я и тут не уступлю. Если даже Всевышнему он был ненавистен, я его все равно любил.

И над хаосом, в полутьме воздвиглась высокая фигура. Другой голос заговорил нескоро и как бы сипловато.

– Но предположим, что все это было дурацкой проделкой, и как ее ни расписывай, нет в ней ничего, кроме сумасбродной издевки. Предположим...

– Я был участником этой проделки, – послышалось в ответ, – и я знаю, как все это было.

Из темноты появилась маленькая фигурка, и голос сказал:

– Предположим, что я – Бог и что я создал мир от нечего делать, что звезды, которые кажутся вам вечными, – всего-навсего бенгальские огни, зажженные лоботрясом-школьником. Что солнце и луна, на которые вы никак не налюбуетесь, – это два глаза насмешливого великана, непрестанно подмигивающего? Что деревья, на мой господень взгляд, омерзительны, как огромные поганки? Что Сократ и Карл Великий для меня оба не более, чем скоты, расхаживающие, курам на смех, на задних лапах? Предположим, что я – Бог и что я потешаюсь над своим мирозданием.

– Предположим, что я – человек, – отвечал другой. – И что у меня есть наготове ответ сокрушительней всякой насмешки. Что я не буду хохотать в лицо Всевышнему, поносить и проклинать Его. Предположим, что я, воздев руки к небесам, от всей души поблагодарю Его за обольщение, мне предоставленное. Что я, задыхаясь от счастья, воздам хвалу Тому, чья издевка доставила мне столь несравненную радость. Если детские игры стали крестовым походом, если уютный и прихотливый палисадник окропила кровь мучеников – значит, детская превратилась во храм. Кто же выиграл, смею спросить?

Небо над вершинами холмов и верхушками деревьев посерело; издали повеяло утром. Маленький собеседник перебрался поближе к высокому и заговорил немного иначе.

– Предположи, друг, – сказал он, – ты предположи в простейшем и горчайшем смысле, что все это – одно сплошное издевательство. Что от начала ваших великих войн некто следил за вами с чувством невыразимым – отчужденно, озабоченно, иронично и беспомощно. Кому-то, предположи, – известно, что все это, с начала до конца, пустая и глупая шутка.

Высокий отвечал:

– Не может ему это быть известно. Не шутка это была. Порывом ветра разогнало облака, и сверкнула серебряная полоса у его ног. А другой голос проговорил, еще ближе.

– Адам Уэйн, – сказал он, – есть люди, которые исповедуются только на смертном одре; люди, которые винят себя, лишь если не в силах помочь другим. Я из них. Здесь, на поле кровавой сечи, положившей всему этому конец, я прямо и просто объясняю то, что тебе не могло быть понятно. Ты меня узнаешь?

– Я узнаю тебя, Оберон Квин, – отозвался высокий, – и я рад буду облегчить твою совесть от того, что ее тяготит.

– Адам Уэйн, – повторил тот, – ты не будешь рад облегчить меня, услышав, что я скажу. Уэйн, это было издевкой с начала и до конца. Когда я выдумывал ваши города, я выдумывал

их точно кентавров, водяных, рыб с ногами или пернатых свиней – ну, или еще какую-нибудь нелепость. Когда я торжественно ободрял тебя, говоря о свободе и нерушимости вашего града, я просто издевался над первым встречным, и эта тупая, грубая шутка растянулась на двадцать лет. Вряд ли кто мне поверит, но на самом-то деле я человек робкий и милосердный. И когда ты кипел надеждой, когда был на вершине славы, я побоялся открыть тебе правду, нарушить твой великолепный покой. Бог его знает, зачем я открываю ее теперь, когда шутка моя закончилась трагедией и гибелью всех твоих подданных. Однако же открываю. Уэйн, я просто пошутил.

Настало молчанье, и ветер свежел, расчищая небо, и занимался бледный рассвет. Наконец Уэйн медленно выговорил:

– Значит, для тебя это была пустая шутка?

– Да, – коротко отвечал Квин.

– И значит, когда ты измыслил, – задумчиво продолжал Уэйн, – армию Бейзуотера и хоругвь Ноттинг-Хилла, ты даже отдаленно не предполагал, что люди пойдут за это умирать?

– Да нет, – отвечал Оберон, и его круглое, выбеленное рассветом лицо светилось простоватой искренностью, – ничуть не предполагал.

Уэйн спустился к нему и протянул руку.

– Не перестану благодарить тебя, – сказал он звенящим голосом, – за то добро, которое ты нехотя сотворил. Главное я уже сказал тебе, хотя и думал, что ты – это не ты, а насмешливый голос того всевластья, которое древнее вихрей небесных. А теперь я скажу доподлинно и действительно. Нас с тобою, Оберон Квин, то и дело называли безумцами. Мы и есть безумцы – потому что нас не двое, мы с тобою один человек. А безумны мы потому, что мы – полушария одного мозга, рассеченного надвое. Спросишь доказательства – за ним недалеко ходить. Не в том даже дело, что ты, насмешник, был в эти тусклые годы лишен счастья быть серьезным. И не в том, что мне, фанатику, был заказан юмор. Мы с тобой, различные во всем, как мужчина и женщина, мы притязали на одно и то же. Мы – как отец и мать Хартии Предместий.

Квин поглядел на груды листьев и ветвей, на поле кровавой битвы в утренних лучах, и наконец сказал:

– Ничем не отменить простое противоречие: что я над этим смеялся, а ты это обожал.

Восторженный лик Уэйна, едва ли не богоподобный, озарил ясный рассвет.

– Это противоречие теряется, его снимает та сила, которая вне нас и о которой мы с тобой всю жизнь мало вспоминали. Вечный человек равен сам себе, и ему нет дела до нашего противоречия, потому что он не видит разницы между смехом и обожанием; тот человек, самый обыкновенный, перед которым гении, вроде нас с тобой, могут только пасть ниц. Когда наступают темные и смутные времена, мы с тобой оба необходимы – и оголтелый фанатик, и оголтелый насмешник. Мы Возместили великую порчу. Мы подарили нынешним городам ту поэзию повседневности, без которой жизнь теряет сама себя. Для нормальных людей нет между нами противоречия. Мы – два полушария мозга простого пахаря. Насмешка и любовь неразличимы. Храмы, воздвигнутые в боголюбивые века, украшены богохульными изваяниями. Мать все время смеется над своим ребенком, влюбленный смеется над любимой, жена над мужем, друг – над другом. Оберон Квин, мы слишком долго жили порознь: давай объединимся. У тебя есть алебарда, я найду меч – пойдем же по миру. Пойдем, без нас ему жизни нет. Идем, уже рассветает.

И Оберон замер, осиянный трепетным светом дня. Потом отсалютовал алебардой, и они пошли бок о бок в неведомый мир, в незнанные края.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](http://BooksCafe.Net)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)